

Николай Климонтович

ФОТОГРАФИРОВАНИЕ И ПРОЧ. ИГРЫ

книга рассказов

**Москва
Издательство «БПП»
2010**

Оглавление

I

1. СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ. НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ И ДР. ПОДАРКИ.....	3
2. ДЕТСТВО ХУДОЖНИКА. ПУБЛИКАЦИЯ И КОММЕНТАРИЙ Г. И. Б.	14
3. ПРОЯВЛЕНИЕ ПЛЕНКИ. СМУТНЫЕ ВИДЫ ПОСЛЕ ВОЙНЫ	40
4. УРОКИ ЧЕРНО-БЕЛОЙ ПЕЧАТИ	53
5. МОТИВ КОРТАСАРА: УВЕЛИЧЕНИЕ	66
6. НОВЕЖСКИЙ ЛЕС. СНИМКИ РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА.....	80
7. ОБРАЗ ЖИЗНИ, МОМЕНТАЛЬНЫЙ СНИМОК.....	95

II

8. УДОБНАЯ ТОЧКА	102
9. ПОРТРЕТ: НИМФА	135
10. ДВОЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ	148
11. НАРУШЕНИЯ В ПЕЙЗАЖЕ	161
12. ЗАПЕЧАТЛЕНИЕ ГРАДА.....	179
13. И ЗАНАВЕС ОТКРЫВАЕТСЯ.....	200

1. СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ. НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ И ДР. ПОДАРКИ

Серые страницы с тройными полукруглыми надрезами (для всовывания хлипких уголков), картонная трубка калейдоскопа (цветные стеклышки позвякивают внутри), выхваченные моменты, случайные орнаменты, новые при каждом обороте, если смотреть на свет,— пожелтый свет давнего весеннего дня. Темный пух просвечивает на голове младенца; он сучит ножками, зайдясь в смехе и ли в плаче, ежит морщинистую мордашку, лежа в колыбели на лопатках. Второй уже встал в кроватке, цепко сжимает ограду в пухлых кулачках (выражение скорбное, кудри дыбом, рубашонка расхристана); третий на руках матери по-прежнему недоволен (молодая женщина улыбается фотографу, густые косы уложены вокруг головы по тогдашней моде). В четвертый раз мы застаем виновника торжества с физиономией блаженной, измазанной пробным жареным в масле пирожком. Черно-белые любительские фото дымчаты и мутны, но если навести на резкость волшебную камеру, изобретенную до потопа, настроить чудесный фонарь для оживления китайских теней на белом полотне воображения, то можно припомнить бретельки на плечиках, штанишки выше колен, сморщенные чулочки (видоискатель нашел даже оранжевые сандалеты с корью дырочек по мыску). Пирожок не дожеван, но звенит в передней звонок, нажимаем на спуск,— и малыш выскакивает чертиком из коммунальной кухни,

устремляясь вдаль по коридору к самой входной двери. Не успевая притормозить, он падает головой в живот тете Музе или тете Леле, дяде Вове или бабе Кате. За ними двоюродная сестра Наташа, дядя-Митя-с-бородой, дядя Юра (и появление последнего чистой-шей анахронизм, он возникнет в Москве, по крайней мере, двумя годами позже), кто-то еще с несостоявшегося семейного портрета (видно, пластинка кое-где оказалась засвечена), все родственники отца, разнообразно выжившие, в отличие от родных матери (от нее досталась лишь бабушка), —

но именинника не собьешь восклицаниями как подросток совсем большой надо же, его занимают лишь поздравления и подарки, лишь мягкий медведь с пышным бантом, пахнущий новым плюшем, пушка на деревянных колесах, настольный бильярд, разрисованный диковинными персонажами, с приспособлением для выстреливания металлической горошиной, с лунками и столбиками по всему полю, какой-нибудь ярко-алой пластмассы фотографический аппарат с белой кнопкой под самой мордой, коробка пластилина (ее дальновидная бабушка тут же задвигает на задний план), невиданный и взрослыми конструктор из гэдээр с импортно аккуратными отделениями для разноразмерных деталей, испещренных педантическими дырочками, несколько книг, одна из которых про любовь для школьного возраста, заводной автомобиль пожилой отечественной марки, катер пограничного вида для запуска в тазу, пластмассовый же револьвер с хлопушкой отстреливаться от ближних, картонное лото, наконец, составленное авторами с коварно-познавательными по-

ползновениями в область зоологии: *р* это рысь, *с* это соболь, *т* это тюлень, *ц*, разумеется, цапля, и так до конца весь алфавит с небольшими изъятиями, в коих повинна, впрочем, сама российская фауна, не выдумавшая зверя на букву *ы* и птицы на *ъ*.

Тогда это был угрюмый московский пригород с апрельскими лужами бурой грязи, со сточными канавами, полными талой воды. Обшарпанный сад под окном грустен, печален остов шалаша, сделанного еще в прошлом июне соседскими детьми из ампутированных тополиных ветвей, —

но в прихожей груда грязных бот и калош, но кухня нынче монополизирована для праздничной стряпни, диван в единственной большой комнате напоминает прилавков детского магазина, а круглый тяжелый стол раздвинут и укутан белой крахмальной скатертью (углы до полу, полускрыты и изогнутые обгрызенные ноги, и крест перекладины). Теснятся стулья, занятые у соседей, появляются первым номером пирожки жареные и пирожки печенные с грибами, с визигой, с яйцами и зеленым луком, с мясом и с капустой, за ними селедка под шубой, морковные, петрушечные клумбы на майонезных салатах, грибы соленые, грибы маринованные, буженина, колбаса всяких сортов, что-то еще из забытой снеди, и все — лишь закуска под водку, налитую в хрустальные графины. Взрослые жуют и смеются, тянутся к тебе чокнуться, ты едва удерживаешь тяжелый цветного стекла бокал на граненой ноге, плеская-таки на скатерть мутно-бордовую «шик-мадеру» (две капли кагора на стакан кипяченой воды, рецепт твоего отца для твоих же праздников),—

родители молоды, дешева еще красная и черная икра, обильны гости и жива бабушка, но тебе уже не до игр (пушка заброшена, и деревянное ядро на капроновой леске так и лезет кому-нибудь под каблук; лото разбросано, медведь с бантом обнюхан, укушен за ухо и отсажен в угол дивана), раз за столом такие богатые возможности болтать ногами, издавать чмоканье и сопенье, сползть задом до края стула, упираясь подбородком в заткнутую чинно за воротник салфетку, выпячивать пузо, выкатывать глаза, царапать вилкой по ткани скатерти, капать сметаной, валить салат на штаны (гости натянуто улыбаются, как будто рады всем этим фокусам), а там уж и вовсе распоясаться, хватать с вазочки фрукты, черенком чайной ложки протыкать кожуру мандарина, требовать сразу три пирожных, пятерней размазывать крем от торта по физиономии и, наконец, одурев от усталости и возбуждения, прыгнуть под стол, ползать между капроном и штанами, трясь перепачканными щеками о шершавую шерсть, развязывать шнурки на чужих ботинках, со злобой лупить кулачком по чьей-то нарядной туфле с тем, чтобы, дождавшись ненавистной формулы *ребенок переутомился ребенку пора спать*, устроить дичайший вой, перемежающийся нервной икотой и неподдельной горечи взаправдашними всхлипываниями. Что такое праздник, к которому готовятся загодя и от которого ждешь так много, пока не научился еще покорно принимать разочарование и похмелье,—

лишь утренний свежий поцелуй матери, лишь нежность рук бабушки, надевающих на тебя чистый костюмчик, лишь первая радость от немногих тайн, что уже

несколько дней были скрыты в свертках на самом верху буфета. Все для тебя — и переполох в квартире, и парадный крахмальный стол, и подарки, и в чем обман — ты конечно не знаешь. Бабушка рядом присела на краешек, от гостей вас отделяет ложно китайская ширма с пагодами и водопадом на темном потертом шелке; ее рука успокаивающе тепла, и ты погружаешься в дрему под негромкий разговор отца с дядей-Митей-с-бородой (тогда еще не спятившим, но уже любителем древностей) и с дядей Вовой (отгоняет ладонью табачный дым к форточке, кашляет басом), под голоса женщин и звяканье чайных ложечек.

Зачем мы представляем себе и другим всегда наперед известное будущее — неведомым, ведь все кончается и проходит. Где в самом деле затерялись старые карточки зоологического лото? Где разрисованный бильярд, где медведь? Где серебряный портсигар дяди Вовы, набитый фильтрованными папиросами, никотинная ржавчина на пышных черных усах, резонерские банальности, что умел произносить он (учитель, редактор) так весомо? Где два крепких протеза-бутыли на культях ног (сами ноги, это известно, остались под гусеницей немецкого танка), где застенчивая улыбка его жены-литовки тети Моники, длиннозубой, с никогда не смеявшимися глазами,— вот она держит мужа за рукав, верхняя челюсть далеко выдвинута по нижней, снята в профиль, смотрит на него, будто на своих протезах он может упорхнуть; он же солидно поглядывает в объектив, похожий на средневропейского господина времен доктора Фрейда. Одни вещи погибли, другие доживают свой долгий век (чего почти никогда не скажешь о лю-

дях нашего времени). Вот старый нелепый альбомчик предреволюционной барышни для вписывания приветов с вензелями Е. В. на черной гофрированной обложке, вот строки полинялых фиолетовых чернил — посвящение *на память милой, славной Кате, поэтичному бесенку* (и Кате, и бесенку, разумеется, через ять):

Полюби, если хочешь и можешь любить
/ Но не жди и не требуй ответа;
Полюби, не прося за любовь наградить
Ни улыбкой, ни лаской привета.
Полюби не черты молодого лица,
Не богатство — ничтожество века,
Не могучую власть, не величье венца —
ПОЛЮБИ САМОГО ЧЕЛОВЕКА, —

И подпись: *Отъ Друга* Есть и дата, исполненная в манере, знакомой нынче лишь по надгробным надписям: *19 IX/III 17. Отъ Друга*, но скажите, где теперь этот самый Друг? В каком месте пути покинула его брренное тело глупая гимназическая бессмертная (на этот раз через е) душа? Свалилось ли оно в окопную лужу уже через пару месяцев после этого безмятежного марта (мятеж, видно, уравнишленную провинцию тогда еще не взволновал); или осталось лежать где-нибудь в сибирских степях или на берегу Сиваша? или чуть позже вышибли из него дух люди в длинных шинелях? или дотащилось-таки оно до эмигрантских парижских бульваров?

Сама баба Катя умерла в Москве не так давно старой девой, и неизвестно, успела ли выполнить дружеский поэтический наказ. Биография ее пестра и туманна: тут и МХТ-второй, и конармия, и книжечка Шерше-

невича с печатью Краснофлотской Азовской библиотеки, и роковая любовь издания тридцать какого-то года с тщательно законспирированным исходом, и нищета, и пьянство, и достойная долгая старость в чине семейного патриарха (всех ее сестер-смолянок, всех братьев-офицеров не оказалось на земле многими годами раньше), начавшаяся, когда ей было едва больше пятидесяти. В гробу она, очень маленькая, лежала, облагороженная смертью, с лицом настоятельницы монастыря, исполненным святости; где лукавая смешливость ее и умение высоко поднимать густые до старости брови, где уютная лысинка на седой голове, старомодные пушкинские цитаты, казавшиеся ей куда как вольными остроты из Козьмы Пруtkова, рассказы о Пасхе в пензенской усадьбе (здесь бывал нищий свойственник Белинский и безутешная бабка Лермонтова), где ее приверженность всему, чему учили верить многократно менявшиеся на ее веку власти? Больше нет всего этого и никогда, по-видимому, уже не будет. Остался лишь ветхий платяной карельской березы шкафчик, чудом снесший многие энергетические кризисы, остались милые серые глаза на дореволюционном коричневом фото, этот вот девичий альбом и найденная после ее смерти в чемоданчике с письмами завернутая в тряпицу и пронесенная с заячьим мужеством сквозь все опасные годы личная печать ее отца, вице-губернатора и предводителя дворянства (монархическая геральдика).

Маленький тиран посапывает за шелковой ширмой, гости говорят вполголоса, они уж не напрягают спин и не поджимают ног, а пьют свежесваренный (по крайней мере, второй раз) цейлонский чай. Бабушка

тоже за столом, хоть и прислушивается к дыханию внука; она и баба Катя говорят о Любове Яровой, на этот предмет, как видно, у них нет одного мнения: друг друга недолюбливают, одна дворянка, другая полька по отцу-шляхтичу, русская по матери из нижегородских мещан, нигилистка предреволюционной выучки, и обе — неслучившиеся актрисы, чему не бывает прощения. Здесь возникают не к месту двое физиков (коллеги отца), их черты совсем расплылись, видны лишь галстуки и мешковатые костюмы, они изображают веселых холостяков, хотя наверняка давно женились за переписыванием конспектов или во время электромеханического практикума на мрачном физическом факультете; один из них курит, другой говорит, понижая голос лишь при пугливых взглядах женщин, они расставляют шахматы. Но проникли они в эту семейную сцену лишь по перебою в механизме камеры, при случайном наложении кадров, и много яснее группа женщин: сестры Муза и Леля, племянницы бабы Кати, двоюродные сестры отца, мать и сбоку единственный мужчина, муж тети Музы, дядя Юра, сухой джентльмен с породистым собачьим лицом, закаленный семью годами учения в Германии (начиная с конца двадцатых) и шестнадцатью (плюс к году начала последней войны) пребыванием в отдаленных северо-восточных провинциях Союза. Беседуют они, по всей вероятности, о дочери тети Лели, Дюймовочке лет одиннадцати с надменной высокой тоненькой шеей, ровными ножками, поставленными в третью позицию, и непомерно большим бантом в пышных грузинских волосах (ее отец, грузин-архитектор, умрет от инфаркта в период борьбы с архитектурными

излишествами, как раз накануне первых заграничных гастролей дочери в составе кордебалета Большого театра), —

беседуют о ее артистическом будущем. Она грациозна, говорит тетя Муза, легонькая, как пух, говорит ее муж, она способная и очень работающая, скромно добавляет тетя Леля, а ведь не хотели сразу принимать, вставляет хозяйка, как прекрасно, что в этот день они об этом самом будущем, в котором и зависть, и неудачные браки, и актерский невроз, и ранний маразм, ничего-ничего не знают, —

пусть Дюймовочка пока стоит себе на пуантах с надутыми губками и высокомерно нахмуренным лобиком. Перелистывая страницу, обнаруживаем, что кадр перегруппировался: в уголке дядя-Митя-с-бородой демонстрируется тете Ире, вдове второго, погибшего на войне, брата отца, и ее дочери, десятилетней Наташе, нечто генеалогическое. Этот боковой родственник с седой донкихотовской бородой до сих пор стар и румян. Долгие годы разгребая семейные анналы, он составит к нашему времени двадцать семь колен родословного древа (до времени Ивана Грозного) и, похоже, сделается бессмертен. Чудо: дерево, верхушка которого была, казалось бы, начисто срезана, обронила-таки пару веточек, —

и те проросли, проросли. Впрочем, тетя Ира-то как раз и не имеет к этим побегам никакого отношения, но рассматривает картинку с улыбкой (чуть позже она выйдет замуж далеко не молодой женщиной за врача-гипнотизера, потом он умрет, умрет). Сколько ни рассматривай фотографии тех лет, заметно, что все эти лю-

ди рады после стольких разрознивших их лет побыть вместе. Они правы, история сделала очередной поворот. Супруги в коммунальных квартирах все чаще говорят в своих норах в полный голос; пусть баба Катя сколько угодно делает ужасные глаза, но тетя Муза и тетя Леля вспоминают имена своих братьев вслух, имена, которые долгие годы нельзя было ни произнести, ни припомнить про себя. Слово *будущее* потеряло казенную абстрактность, а стало обыденным понятием, о нем следует волноваться. Меньше хочется лежать, больше хочется передвигаться (и решения об этом люди привыкают принимать самостоятельно), ходить в гости. Пожалуй, в самом времени много оптимизма, и кудрявый малыш во сне показывает ямочки. Пройдет три десятка лет, он станет раздражительным человеком, будет на поминках морщиться от вкуса кутьи, не любить даже близких покойников, остерегаться признаков чужих недомоганий, запаха горьких старческих лекарств, сторониться сквозняков, нищеты, книжной пыли, ему будут неприятны даже следы пролитых давным-давно чернил на столешнице старинного бюро, он будет торопливо и невнятно думать о бренности, брезгливо листая серые страницы с тройными полукруглыми прорезями для всовывания хлипких уголков...

Ты проснулся, когда гости в большинстве разошлись. Только двое смутных физиков играют в уголке в шахматы, мать и бабушка переговариваются шепотом, двигая вещи на их будничные места. Абажур над столом прикрыт тряпичей, чтоб свет не доставал до ширмы, сам стол сдвинут, застелен привычной клеенкой, и посуда уже перемыта. Есть в нежданно наступившем

вечере что-то от зимней ангины. Подарки аккуратно собраны, сложены на твоём низкорослом столике, они прижились, расселись по местам, будто были здесь всегда. Неужели ты все проспал и скоро снова ложиться! Малыш стоит, щурясь, босиком в проеме ширмы рядом с пагодой, трет глаза кулачками (ночная рубашка до полу). *Вот мы и проснулись, какие мы заспанные, фу-ты, какие мы стали,* говорит один из физиков, делая ход, и другой отвечает молча ходом ладьи вперед, —

казались ли вещи когда-нибудь печальнее, чем сейчас, была ли горше минута в твоей краткой жизни? Отчего притаился медведь, кто смел собрать лото, перезарядить пушку, поставить на прикол катер? Никогда, никогда не сумеет он переиграть во все это — ночь на дворе за окнами, электрический свет, и кончился день рождения. Тот, кто пошел ладьей, восклицает бодро и радостно: *а подарков-то сколько ему надарили, ишь!* Он берет ярко-алый фотоаппарат (ну-ка улыбнись-ка, необходимо улыбаться, когда снимаешься), наводит на тебя, нажимает белую кнопку. Что-то щелкает внутри дурацкой игрушки, откидывается крышечка на объективе, и выпрыгивает, дрожа на пружинке, зябкая аляповатая птичка. *Птичка вылетела,* говорит физик, глядя на шахматную доску, потому что партнер уже взялся за фигуру. А ты уже снова плачешь.

2. ДЕТСТВО ХУДОЖНИКА. ПУБЛИКАЦИЯ И КОММЕНТАРИЙ Г. И. Б.

Свои детские воспоминания, оказавшиеся в нашем распоряжении наряду с прочими материалами, Фотограф набросал в возрасте уже тридцати лет, судя по дате под ними; относятся они к переломному периоду его жизни, когда — отчасти по его собственной оплошности, отчасти по вине обстоятельств — пленки, которыми он дорожил и с которыми связывал виды на будущее, оказались засвечены, а ему самому на обозримые годы был закрыт путь на выставки и к признанию. «Не знаю, творить ли?» — находим мы в одном из его частных писем тех лет.

Помимо естественной ценности, которую имеют любые сведения о его жизни и творчестве, эти записки, живые и выпуклые, но не предназначавшиеся, сколько можно судить, для печати, характеризуют не только самого художника, но и целый слой творческих работников его поколения.

Наша публикация является, по сути дела, лишь подступом к созданию и изучению полной творческой биографии Фотографа, первым шагом по целине в этом направлении, и мы надеемся, что работа эта окажется небесполезной будущим исследователям и фотоведам, которые займутся этой темой. Помимо авторской рукописи этих записок нами были использованы и другие материалы (в частности, фотографии из семейного альбома художника), кроме того, кое-где мы опирались на свидетельские показания очевидцев. Там же, где верные сведения обрывались, воспоминания современни-

ков делались невняты, мутнели фотографии, а письма оставались неотправлены, мы полагались на собственную интуицию и дедукцию, этих верных помощников того, кто вжился в материал, сросся с эпохой и сдружился с истиной.

Являясь, по существу, пионерской, наша работа, быть может, не такова с методологической точки зрения — ни для зарубежного (и это понятно), ни для отечественного фотоведения,— в последние годы у нас, кажется, все смелее применяются подходы, еще недавно казавшиеся неплодотворными, а в ряде случаев (бывало и такое) даже крамольными. Что ж, плюрализм так плюрализм!

Записки представляют собой мелко исписанные десять страниц стандартного формата (бумага для машинки), практически не содержат помарок. Быть может, эти записи сразу же делались набело, отсутствие стройного плана и некоторые повторы говорят в пользу нашей догадки, хотя, с другой стороны, их можно отнести и на счет смутного душевного состояния автора.

Записки, по-видимому, дошли до нас не целиком, утеряно начало текста (условное название *Детство Художника* предложено нами), т. е. начинаются они не с заглавной буквы, к тому же первое предложение взято в скобки: «...(усатый портрет в пустой витрине аптеки, что на другой стороне Ордынки)». И тут же через запятую: «сегодня первое мая, Первое мая, я листаю, сидя в глубоком кожаном диване в комнате тетки, с трудом удерживая на коленях, толстый альбом или толстый фолиант из отцовской библиотеки (подчеркнуто нами.— Г. И. Б.), трудолюбиво переворачиваю тяжелые

картонные страницы с наклеенными репродукциями (не то живопись русских художников, не то портреты русских писателей — дореволюционная печать), прилежно слюнявлю пальчик, ловя увертливый шелестящий тончайший пергаментный лист (той же природы, что и прокладки слоновых размеров тогдашних шоколадных наборов; это сходство для меня неудивительно, на коробках тоже сплошь живопись, усатые *Запорожцы* и *На побывку к дедушке*, пышноусому, которому отдает честь суворовец под портретом Буденного с теми же, что и у дедушки, усами, но наборы слаще, нарядней, схвачены по углам щегольской лентой, золотой и повязанной бантом, внутри — ровные шоколадные рядки, квадропольная система, возможность гадать, где какая таится восхитительная начинка, старинный же альбом пахнет горчицей пылью, от нее щекочет в носу и чихается), —

таким я вышел на снимке, малолетний, недавно отправившийся в свое путешествие...»

Снимок, о котором идет речь, не сохранился. Впрочем, в семейном альбоме удалось разыскать другой, близкий по датировке (ибо мы знаем, что описываемые в записках события происходят в начале мая, точнее — первого числа), на нем Фотограф снят во дворе городского дома на фоне ворот (печать нерезкая, бумага глянцевая). На нем рубашка и короткие штанишки на бретельках; на ногах сандалии; он улыбается.

«Отцовская». Здесь неточность. Библиотека принадлежала деду художника, к описываемому периоду уже покойному (точной даты смерти в архиве устано-

вить не удалось), так что к отцу¹ Фотографа она перешла по наследству. Но даже если бы автор был точен и указал «дедушкина», это не исказило бы важного для нас смысла: фолиант, который рассматривает мальчик, пришел к нему по мужской линии.

Сделаем и еще одно наблюдение: на сравнительно небольшом пространстве текста трижды употреблены слова с корнем ус- (усатый, пышноусый, с усами), причем в одном ряду с шоколадом, в котором «таится восхитительная начинка»; книга же из отцовской библиотеки, напротив, «горчит», от нее «чихается». Ниже мы придем к истолкованию этого.

Наконец, слово «путешествие» в данном контексте следует, мы убеждены, понимать метафорически (стезя, жизненный путь), о чем и свидетельствует продолжение фразы: «... в свое путешествие, но уже набивший шишку об угол дивана, когда подбрасывал головою воздушный шарик, уже ушибший коленку, пока носился с первомайским флажком вдоль по коммунальному коридору (на флажке солнце вставало из-за Кремлевской стены), уже прогрызший стеганый шарик на резинке (для отбрасывания ладонью) и наглотавшийся опилок, а теперь усаженный, наконец, за рассматривание».

«Рассматривание» портретов и репродукций с картин здесь выступает в виде наказания, в то время как первомайский флажок стоит в одном ряду с игрушками, праздничными подарками, увеселениями, а боль (ушиб, шишка) иллюстрирует, оттеняя ее, степень удовлетворения (ср., напр., у Пушкина: «ему и больно и

¹ Мы смело пользуемся в нашей работе терминами «мать», «отец» и т. п., т. к. они прочно вошли ныне в обиход отечественного фотоведения.

смешно»). Отметим и тот факт, что на флажке — изображение Кремля, сердца нашей родины. И продолжим разбор.

«В памяти перепутались изображения; дедушка Крылов в галстуке и с брыльями оказался рядом с *Незнакомкой* на огнедышащем, кровью косящем коне; молодежливый невыразительный портрет человека с бакенбардами, и тут же краснорожий со смешной рыжей бородой до глаз *Кочегар* со своею клюкой; вечный покой, конфеты Мишки на Севере, бурлаки, некто суровый, не то в халате, не то в подряснике, может быть, тот же, что и на картине, с безумными глазами, убивший только что своего сына; трое крестьянских детей с жалостливыми личиками, волочащие по снегу какую-то мебель; поле ржи; другой мужчина в том же халате, но добродушный, как Дед Мороз; страшная темная тетка с вздетой кверху рукой, но тут же другая, милая — с персиками; утро стрелецкой казни, в котором ничего не разберешь; щеголь в кудрявом пиджаке, с прилизанными вьющимися волосами, с нежными усиками (еще не выяснена его связь с собранным по разноцветным кусочкам мрачным Демоном); грачи прилетели; возникший из дерева человек со светящейся тарелкой над головой, фантастическое имя Ломо-но-сов, похожее на дровосек, снова бурлаки, длинные, коричнево-желтые, на сей раз намертво склеенные с *чей стон раздаётся* (много лет пройдет, прежде чем станет ясно, что стонать — не прямое их занятие), дядька с длинным на сторону носом (на ту же сторону, что и зачес), с изюмными глазами выпеченного жаворонка; три богатыря; сватовство майора (я и теперь не свободен от впечатле-

ния, что сватовство — род пролезания в дверь, и непременно с усами), чудное имя с самшитовым запахом — Кипренский, гибель Помпеи, пуговица Дантеса, а вот и олеография откуда-нибудь из Огонька, чудом пролезшая сюда же — *Опять двойка*; босой старик с длинной бородой и в пояске, московские дворики навсегда слитно с фамилией Поленов, доктор в пенсне (то, что Чехов — писатель, жило на первых порах на задворках, помнилось лишь, что Каштанку придумал именно доктор, отсюда смутная, но устойчивая связь цирка и медицины), земство обедает, конфета *А ну-ка отними*, наконец, с несчастной дворнягой, которой девочка так и не позволит никогда дотянуться до лакомства, сколько ни служи, —

и усатый портрет в белом кителе, еще украшающий аптечную витрину, сиротливый и этим запомнившийся».

Внимательный читатель без труда отыщет три опорные точки всего периода, незаметные на первый взгляд, но прочно и веско поставленные: вечный покой, поле ржи, три богатыря. Так, будто исподволь входит в рассказ тема России.

Настрой всего отрывка — элегический, нежный; усы и бороды так и пестрят, чередуясь, опять же, с марками конфет. Плодородное поле ржи охраняют три былинных богатыря (недаром смежное с ними слово — «жаворонок»); «майор», «китель» — они как бы продолжают тему богатырства, причем картина «Сватовство...» имеет чрезвычайно важный для нас комментарий — сватовство ассоциируется с проникновением внутрь (вспомним раньше — «таится начинка»), с «пролезанием» («и непременно с усами»). Тема женского лона (как

ее можно не узнать!) нарастает: конфета — А ну-ка отними — девочка; а затем имеет свое разрешение: медицина — аптека (намек на роды).

Тем показательнее следующий абзац:

«Лишь два изображения всегда вызывали неприязнь и навевали скуку — Арест пропагандиста и Не ждали, причем я был уверен, что центральный персонаж на них — один и тот же, и это отвращение, прежде безотчетное, лишь теперь мне представляется более или менее объяснимым, —

и я быстро пролистывал эти репродукции, уж лучше Кочегар, лучше вечный покой, лучше безумноватый дядька с двойной, как шурум-бурум, фамилией».

Предыдущему, «женскому» абзацу противопоставлены лишь «два изображения», сливающиеся в одно. В центре каждой композиции — мужская фигура. Скорее всего, это не случайно. «Лучше» чем эта фигура — бородатый кочегар, лучше — левитановское полотно (кто не помнит его, так проникновенно говорящее нам о родине, с церковкой на крутояре), лучше даже, т. е. менее «отвратителен» «дядька» (м. б., писатель Салтыков-Щедрин?), напоминающий мальчику царя-сыноубийцу.

На обеих картинах, вызывающих неприятие ребенка, центральный мужской персонаж изображен стоя. Царь же Иоанн, убивший сына, сидит на ковре, он уже повержен раскаянием и горем, т. е. не опасен. Портрет писателя лишь отдаленно на него похож («может быть, тот же»)… Перед нами картина бессознательной иерархии детских страхов, зафиксированная мемуаристом.

Чуть забегаю вперед, обратим внимание читателя и еще на одно обстоятельство.

Портреты, пейзажи, т. е. композиции, отражающие мир русской природы, изображающие человека, т. е. связанные с повседневным опытом, в подавляющем числе случаев вызывают у мальчика положительные эмоции, приятные ассоциации (тема шоколада, праздника); напротив, усложненные многофигурные композиции, отражающие страницы отечественной истории и составляющие золотой фонд нашей культуры, в лучшем случае вызывают непонимание (на картине «Утро стрелецкой казни» «ничего не разберешь»; боярыня Морозова — «темная страшная»), а гениальная живопись Репина так прямо «вызывает неприязнь» и «навеивает тоску». А ведь повседневный опыт мальчика связан с женскими лицами (ни одного мужского персонажа вы не найдете на страницах комментируемого отрывка), в то время как на присутствие отца в жизни мальчика во всем тексте есть лишь одно указание, да и то косвенное: «отцовская библиотека». С одной стороны — теплый защищенный мирок, с другой — сложный и угрожающе непонятный внешний большой мир; материнское лоно, отцовская строгость — вот как напрашивается определить их.

Но пойдём дальше.

«Бабушка читала вслух много (взрослые потешались потом над моей декламацией по памяти при отсутствии во рту *р* и *л*):

Легко мазурку танцевал

И кланялся беспрекословно, —

парафраз — лишь результат детской сумятицы звуков и значений, до либеральных смыслов еще далеко), Лермонтова, А. К. Толстого, Гауфа, переводя мне с листа

по немецкой книге, а потом опять со знакомым значением, с тихим вздохом:

Там некогда гулял и я:

Но вреден Север для меня, —

и рукой подать до Щелкунчика, до Принца и Нищего, до шиллеровых баллад Жуковского, до Пиквикского клуба, а о вечном смертельном споре сокола с ужом я узнаю (к счастью, ли, на беду ли) лишь много лет спустя».

Женское начало впервые находит здесь олицетворение: «бабушка» (замена матери). Она читает вслух, но смысл прочитанного непонятен ребенку; звуки громоздятся и путаются, тексты отстранены («по немецкой книге»), а всему абзацу придана далекая перспектива — русская литература представляется неохватной, громадной, уходящей в дымку будущего и теряющейся в ней.

Сказанного довольно, чтобы попытаться определеннее сформулировать ведущую нашу мысль.

Мы полагаем, что уже на ранней стадии становления сознания будущего Фотографа (4 года) конкретное представление о матери начинает совмещаться для него с образом более абстрактным, но и более объемлющим — с образом родины, России². Все приведенные выше наблюдения и выкладки с такой несомненностью свидетельствуют об этом, что, думается, читателю нет нужды в повторении нашей аргументации

² О проблеме взаимозамещения понятий «мать» и «отчизна» существует обширная литература. Сошлемся хотя бы на известный анализ сна Цезаря на берегу Рубикона, а также напомним читателю тот факт, что пресловутый Эдип был не только сыном и мужем, но и царем.

В дополнение приведем лишь выдержку из уже цитированного нами письма художника: после слова «творить ли» следу ет — «но Россию я всегда (подчеркнуто нами.— *Г. И. Б.*) любил, как мать». Возникает вопрос: кто же отец? Продолжив комментарий, мы подойдем к ответу и на этот, важнейший для нас вопрос.

«Но коммунальная квартира препятствует комнатному воспитанию (а впереди еще и дворовые уроки и экзамены), даже если есть у вас нянька с грубыми и сильными руками, с тугой белесой косой и веснушчатым сердитым лицом (ее, сироту, вывезли из деревни из-под Великих Лук, где родители мои нанимали на лето «дачу» — избу с тараканами, — из деревни повоенной, разворованной и беспаспортной, но она оказалась мало пригодна к нашему городскому житью). Было ей восемнадцать лет, она страдала и дичилась (негде грызть семечки), мечтала пойти замуж или на железную дорогу (от коих шагов ее отвращала бабушка, уверявшая, что Таньке надо учиться, и сообщившая о том, кажется, самому Калинин у в письме, где содержалось утверждение, что дочери убитого партизана необходим хоть временный вид на московское жительство), и вскоре — с облегчением, надо думать,— решившаяся на побег от своей благодетельницы (совсем как Гекльберри) и прихватившая с собою несколько чудом выживших до этой поры серебряных ложек (как Жан Вальжан) и весь семейный комплект зубных щеток, и эти приобретения, хочется верить, помогли ей произвести впечатление на какого-нибудь начальника, надзиравшего за женщинами, укладывавшими шпалы и укладывавшими рельсы, по которым во все тяжкие катит наш паровоз Вперед-

лети (таким мне слышалось имя этого славного паровоза).

Но пока моя нянька еще была с нами, она сдружилась с чернорукой старухой (лет, я теперь понимаю, под пятьдесят) с сухими и твердыми, как птичья лапа, пальцами. Та жила в каких-то дальних закоулках коммуналки, будучи родом откуда-то из Сибири. Встречались они с Танькой на кухне днем, когда в квартире никого не было, да и то лишь в те дни, когда старуха работала в ночную смену, вели тихие разговоры, совершенно мне непонятные, но притягательные, как омут, как болотная топь, как ночное кладбище. В речах черной старухи встречались непривычные слова — заимка, лог, валежник, яр, но их-то я как раз еще смутно понимал после чтения бабушкой истории Чука и Гека, но общий смысл рассказов оставался темен и таинственен. В Чуке с Геком хоть и описывались известные неприятности, но кончалось все весело и прекрасно: куранты били на Спасской башне, все кричали «ура», пили шампанское за нашу Советскую страну и смеялись, совсем как дома по праздникам, у старухи же все, о чем ни рассказывала она, знаменовалось чаще всего смертью. В сорок четвертом году было, глухим голосом говорила старуха, глядя вбок, пошли домой поздно с подружкой, с Таисьей моей, я уж перескакнула на яр, она отстала, и тапочек ее в воду упал. Она за ним наклонилась, а разогнулась — вся белая? Че? — спрашиваю. Человек мне в очи глянул из ручья-то, то смерть моя была. И то: в том же годе сгорела на заимке, двенадцать человек с ней в избе было, все повыпрыгивали, а она сгорела.

Танька замирала над кастрюлей, держа ложку на весу, глаза ее таращились, ноздри ловили воздух. Ну? только и говорила она, но тут же спохватывалась, набирала грудью воздуха, произносила шипя, со свирепым ужасом: у нас тоже раз девка гадала на святки, и гроб ей вышел, так она и померла, от туберкулеза, говорили, а я знаю... Ворожить грех, только и замечала старуха — казалось, Танькины номера на нее никакого впечатления не производили. Она оставалась замкнутой, строгой, только поправляла волосы под платком. Она никогда не улыбалась, лицо у нее тоже было темное, не знаю — ходила ли она в церковь, об этом в те времена не распространялись, но соседи шептались, что она кержачка, старообрядка, раскольница, а в довершение сын ее служит попом в каком-то отдаленном приходе. Впрочем, биография ее была более или менее известна: родилась она в сибирской деревне, в начале тридцатых ее привез в Москву какой-то начальник — в домработницы, «потом работы у меня не стало», как кратко говорила она, пошла на номерной завод, в войну с ним же эвакуировалась — в родные места, но с ним же и вернулась. Бабушка, однако, к этим сведениям относилась скептически: во-первых, говорила она, прислуга из семьи репрессированного вряд ли могла устроиться на закрытое предприятие, во-вторых, раскольник вовсе не может быть православным попом, —

я же теперь, вспоминая те времена, думаю — все бывает; прихотливы извивы и сгибы наших нынешних судеб, вполне иррациональны с точки зрения логики, прописанной в наших же газетах».

Далее автор (и это мы сейчас увидим) передает рассказы старой крестьянки. Эти бесхитростные «страшные» истории, былички, как называют их фольклористы, в особой поэтической форме повествуют об окружающей действительности, говорят о восприятии ее народом (сохранились свидетельства, что А. С. Пушкин интересовался суеверными рассказами и хорошо знал их).

«У нас в деревню все змей летал, — начинала опять старуха (Танька дергала меня, чтоб не егозил, стоял смирно — от себя ни на шаг не отпускала, в чем и состояло мое воспитание), — Зойка-то моя, помню — она в последний год войны померла — говорит: ой, мама, мы все с девчонками как напугались, присели, искры-то летят, говорит, у него изо рту, а сам он как коромысло, летит — выгибается. Вот так он все летал, а потом пропал куда-то. И все говорили, что он к Лидке, может, жил с ней, может, что. У той мать-то как умерла, она уж по ней плакала, и все говорили, что к ней, — женщиной делается и к ней, значит. И разговаривает, как она, Елена-то Федоровна, разговаривала, но Лидка никому об этом, молчок. И то, он же наказывал: не говори, дескать, нельзя говорить-то...

И все-то ее рассказы были так же мрачны, не сюжетом даже, но колоритом, беспросветны, тоскливы до последней тоски без исхода, до бесчувствия к страданиям, смертям, невзгодам, как будто навсегда сознание ее было залито каким-то мутным керосином, изнутри сжигавшим ее темную голову, наглухо повязанную платком. Была в этих фантазиях и туповатая жалоба, скудоумная и сбивчивая. Если черт мужиков по лесу во-

дил, завязнул совсем грузовик, они выбрались кое-как да попали на свадьбу, где будто бы невеста — из их села, то когда невеста появлялась и они признавали в ней свою Гашку ли, Фроську ли, то голова невесты была «так криво», и уж больше ничего не нужно было, ясно становилось, что приключится нехорошее, и точно: когда мужики, едва унеся ноги, прибежали в деревню, Гашка-то — та уж «на току повесилась».

— А про упокойников скажите, — просила Танька дрожащим голосом.

— Да что ж покойники, — изрекала старуха и заводила историю о том, как мертвый муж повадился к жене, сын — к матери, а покойная жена одного мужика «вот ночью придет, берет девочек, что после нее остались, пяти годков и трех, наливает воды и купает; и так каждую ночь; аж замыла детей, они такие худенькие стали». Кончались все истории по-своему счастливо: в соответствующую могилу вбивался осиновый оструганный кол, после чего неприятные визиты прекращались. Видно, осина здорово влияла, заключала старуха».

Мы находим здесь тему нарастающего страха. Поэтические истории рассказчицы характеризуются автором как «мрачные», вызывают у мальчика «тоску без исхода», этот детский испуг оттеняется и подчеркивается и состоянием второй слушательницы (они ее «потрепали», она «дрожит», «крестится», как мы читаем ниже). А противопоставлено чувству страха — чувство радости и праздника, как и прежде, связанное для рассказчика с темой патриотической (куранты на Спасской башне, советское шампанское).

«— На ферме мы работали с этой, Вaley,— продолжала старуха,— собрались раз на вечерку, а сестра подошла к зеркалу, давай пудриться. И та Валька-то подошла к ней да эдак вот махнула: не пудрись, грит, а то присядешь... Парня не поделили или че. Как она заревела, сестра-то моя, и за лицо держится. Я зашла к ней: че такое? Вот так и так. А Валька-то на краю жила и побежала к себе. Я за ней. Ты что, сволочь, говорю, сделала, сейчасними с ее все это. А она: что ты, что ты... Пошла, по голове сестру эдак погладила — и сразу ничего. А то ревела.

— А чего она ей исделала? — тарасилась Танька, дрожа, крестя грудь ложкой.

— Спортить лицо хотела. Такие были шаманки, у-у.

— Это как? — лепетала запуганная Танька.

— Колдовки. То на ребенка дурным глазом глянет, то корову в хомут.

— Это как?

— Напустит на корову порчу, у той вымя разнесет, лягается, на стену скачет — не подойти, глаза нехорошие...

Время от времени подобную сцену заставляла бабушка: на кухне шипят сковородки, шевелят под сквозняком свернувшимися уголками многочисленными плешивые клеенки, капают без усталости неисправные краны, помаргивает голая лампочка на шнуре, чернорукая старуха с темным ликом сидит на табуретке прямо, спрятав руки под фартук (за готовкой ее, кажется, никто никогда не видел), нянька же моя стоит разиня рот над чадящей керосинкой, в кастрюле булькает, за слюдяным око-

шечком трясется чахлое мутное пламя, ложка висит в воздухе, глаза выпучены: значит, прямо на лицо?

— И не стыдно вам глупости рассказывать при ребенке, — скороговоркой произносит бабушка, отнимая мою руку от Танькиного подола, за который я давно держусь в настоящем ужасе (за годы скитаний без мужа насмотрелась бабушка и на «колдуний», и на «шаманок», древних неухоженных одиноких старух, по большей части, и всегда ей было их жалко, оставалось лишь поражаться жестокости к ним как взрослых, так и детей); Танька вздрагивает, помешивает в кастрюле и презрительно хмыкает, она ни в грош не ставит свою радетельницу, видя ее житейскую глупость и нерасчетливость, мудрость же черной старухи, напротив, расценивает очень высоко. И та не удостоивает бабушку ответа, позы не меняет, все так же замкнуто ее лицо, все так же под косынкой происходит однообразная, как штамповка, работа ее памяти; она знает, однако, что бабушку одолел бес постыдного скептицизма, который лишь разрушает, не строит, да и сама бабушка, наверное, понимает, что прерывать старуху в минуту вдохновения — бестактность, да и в силе здесь — другая логика, относящаяся к бабушкиной, как геометрия Лобачевского — к Эвклидовой. — С праздником вас, — прибавляет бабушка, сглаживая неловкость и крепко держа меня за руку.

— И вас с праздником, — отзывается старуха, вдруг поднимается с табурета и низко бабушке кланяется».

Состояние мальчика достигает кульминации (он в «настоящем ужасе»), но тут вмешивается бабушка, только она (материнское начало) может его защитить.

Но зададимся, наконец, вопросом: что это за страх? И есть ли нечто общее между растерянностью ребенка перед картинами Репина, испугом при взгляде на изображение царя Ивана Грозного и народными страшными рассказами о колдовстве и «упокойниках»? Конечно, буржуазный исследователь толковал бы это с грубой прямолинейностью: мол, и там и здесь имеет место неосознанный страх перед отцом, ужас возможной кастрации. Он выстроил бы ряд на поверхностный взгляд убедительный: царь — пропагандист — змей, посещающий женщину, — осинový кол, вбитый в могилу матери двух сирот. На наш взгляд, дело обстоит значительно глубже.

Да, говорим мы, есть связь между мужественными многофигурными композициями и поэтическими фольклорными сказаниями (и многое в творческом наследии Ильи Ефимовича тому подтверждение), да, говорим мы, в анализируемом отрывке мальчик равно испытывает смущение, чувство неловкости, неудобства, даже страха и от «горчащего» запаха книг из отцовской библиотеки, и от созерцания портретов углубленных в себя мыслителей прошлого, и при заучивании наизусть прекрасных стихов (а ведь наверняка ему читались вслух и сказки А. С. Пушкина), и при прослушивании народных поверий, и объяснение этому может быть одно: все это вместе есть не что иное, как гнет культуры, испытываемый художником уже с ранних его лет.

Многовековая культура русского народа — вот то мужское начало, которому в детском восприятии противопоставлено начало женское (мать, отчизна) начало оплодотворяющее — началу оплодотворяемому. Имен-

но перед лицом могучего культурного наследия трепещет душа будущего Фотографа, именно с этим «отцом» предстоит ему конкурировать — перенимать у него навыки и отвоевывать себе признание.

Теперь, когда мы знаем это, дальнейшее чтение для нас не представит труда.

«Не запомнилось, было ли у Таньки праздничное нарядное платье (не было такового, думаю, и у бабушки в те послесельные годы³), но к первомайской атрибутике относилась моя нянька с не меньшим энтузиазмом, чем я сам. (Как здесь не всп. Пушкина с его «выпьем, няня, где же кружка». — Г. И. Б.) Она отбирала у меня стеганый мячик, но так сильно ударяла по нему ладонью, что резинка выскальзывала из неловких пальцев, а мячик закатывался под шкаф; она норовила украдкой лишний раз дунуть в уди-уди, что категорически воспрещалось гигиеничной бабушкой, как и кормление меня с ложки, которой Танька ела сама; она смешно и неуклюже (была сильной и гибкой, я думаю) подбрасывала обеими руками воздушный шарик, не в силах удивиться его невесомости; и долго мяла и разглаживала флажок, «смотрела материю», —

Кремль стоял, солнце продолжало вставать; дело шло к десяти часам утра».

Не сохранилось, к сожалению, фотографической карточки этой доброй девушки из псковской деревень-

³ Ни приговора суда, ни административного постановления по этому делу в архиве не обнаружено; скорее всего, мальчик ошибается — его бабушка по делу не привлекалась; сразу после ареста мужа и приведения приговора в исполнение, она покинула Москву по собственной воле по причинам личного хар-ра.

ки, так много значившей в жизни Фотографа, так глубоко осевшей в его детских воспоминаниях. Не удалось и получить каких-либо сведений о ее нынешнем местопребывании. А жаль. Ведь если бы мы могли располагать ее свидетельствами, как знать, не обогатилось бы наше фотоведение дополнительными знаниями о жизни Художника и его семьи, которую мы нынче должны реконструировать по крупницам, да и те не все еще изъяты из частных архивов (здесь к месту напомнить, что фотообщественность ждет, когда же в полную меру заработает Комиссия по творческому наследию художника, а вопрос о создании мемориального музея-квартиры, который нынче висит в воздухе, встанет, наконец, ребром).

«... Пора было выходить во двор и занимать место у ворот, напротив аптеки, ибо с минуту на минуту могло начаться...

Танька подсаживала меня, чтобы я мог повиснуть на воротах, вцепившись в штакетину, сама же проявляла все признаки нетерпения: вытягивала голову, расталкивала гурьбу мальчишек постарше меня, кричала: «Дядя, ну что ты встал, не видно ж»,— сама, думаю, с удовольствием забралась бы на забор, если б не ее дворовый престиж.

Смутный гул шел со стороны Яузской набережной, топот ног, осязаемый шорох в воздухе как бы электрического свойства, солнечное утро чуть меркло, нахмурилась, появились бегущие мальчишки с криком «Едут!», сразу за их стайей показалась голова танковой колонны.

Впереди в «джипе» везли знамя, уже скрученное и спрятанное в малиновый чехол, и ухмыляющегося офи-

цера в фуражке с золотым парадным кантом и с белыми перчатками, которыми он помахивал; позади же «джипа», чуть не налезая на него, ползло первое из стальных тинно-зеленого цвета чудищ, страшно скрежещущих по асфальту гусеницами; наверху как ни в чем не бывало сидел, посмеиваясь, парнишка в комбинезоне, с непокрытой головой, похожий на рабочего в минуту перекура, но внизу, внутри железной морды, среди лязга и визга, гари и копоти виднелась и еще одна голова в шлеме — она торчала из-под открытой крышки, как неживая, но оловянная, и таращила на дорогу глаза.

Танки шли с нечеловеческим порядком, один за другим, след в след, после них на мостовой белели свежие рубцы, шли долго, терпеливо, как может идти лишь механизм, одна колонна иссякала, но на подходе была следующая, тоже предводительствуемая «джипом» и знаменем, а в промежутках между ними мелькали усы и белый китель на портрете, остававшемся в витрине, скорее всего, по недосмотру (впрочем, приказ снимать такие портреты вышел, по-видимому, годом позже),—

ибо я родился, и тиран умер, на Мавзолее— иные лица (это они отдавали только что честь этим самым танкам, махали рукой, и это для них собрались танки этим утром все вместе), но не могло не казаться, что именно этот портрет в кителе украдкой принимает парад нынче, и мне с моего места виделось, как смотрит он с прищуром на каждый «джип» и на каждый танк, на каждого водителя легкомысленно легких после танков «катюш», думая про себя: «Что ж, хорошо».

Танька, по-видимому, думала то же. Побледнев, она шевелила губами, как всегда в минуту волнения, жадно провожала танкиста взглядом, потом, потеряв его из виду, торопливо искала следующего, изредка облизывала губы быстрым язычком и сжала кулаки, когда показались, наконец, огромные светло-серые, похожие на громадных мертвых рыб с красными плавниками-стабилизаторами, занимавшие всю видимую длину улицы стратегические ракеты; в толпе закричали «ура», мальчишки подхватили этот вопль, беснуясь на заборах, по щеке моей няньки покатила вдруг длинная слеза, и с выражением отчаянной дерзости она крикнула: «Вот ужо мы вам зададим!» И мне стало жутко и весело, хотелось пинать кого-то ногами, кричать, как все, и плакать гордыми слезами; от нервного перепуга бежали по спине мурашки, члены свела восторженная отвага, как у любого зверька, нападающего в стае, и если бы толпа сейчас устремилась вслед за ракетчиками на какие-то неведомые рубежи, то мы с Танькой конечно же тоже понеслись бы сломя голову, забыв и о доме, и о себе, и о бабушке».

Отрывок этот в свете сказанного нами выше не требует комментариев. Отметим лишь, что последняя фраза отчетливо говорит: патриотическое воодушевление художника в ряде случаев (атака на «неведомые рубежи») становится сильнее самосохранения и любого чувства, даже любви к дому и матери (здесь «бабушке»).

«Танки, танкетки, «катюши», ракеты с их тягачами — все наконец ушло в сторону Добрынинской площади, наступила тишина, повисло облачко разочарования и

грусти, душевную опустошенность, наверное, испытывали даже коты, попрятавшиеся было от грохота, но теперь вылезавшие из укрытий, толпа по краям тротуаров сникла, понурилась, стала редеть, лишь портрет в витрине аптеки смотрел с прежним величавым лукавством; но пустота улицы жила недолго.

Уже минут через пятнадцать появились на Ордынке первые демонстранты. Сперва они шли группками, принаряженные, кое у кого в руках были большие бумажные гвоздики, прикрученные к палкам медной проволокой, но потом потекли гуще. У всех были возбужденные лица, на которых лежала печать просветленной усталости. Будто все они этим утром совершили какое-то важное дело, требующее отваги и напряжения всех сил, умственных и душевных, а теперь, гордые, шли еще под впечатлением, какие они красивые и сильные, как их много и как они вместе, к заслуженному отдыху с выпивкой и закуской.

Постепенно их настроение заражало и загрустивших было зевак. И вот демонстранты уже валом валили, толпа катила на колесах, несла на руках транспаранты и лозунги, знамена, флажки, вымпелы и призывы, огромные раскрашенные фанерные цифры перевыполненных трудовых норм, нанизанные на стальные каркасы, по ней волнами перекатывалось еще эхо от многоголосого кремлевского «ура», то затихающее, то вновь вспыхивающее, и надо всем этим шествием, пахнущим портвейном, сапожной ваксой, дешевым цветочным одеколоном, мылом, потом, духами, стиранным бельем и весенней пылью, плыли десятки, сотни черных бород, и сотни темных усов, шевелящихся на огромных полот-

нищах. Казалось мне, что вся эта лавина чудовищных запахов толпы исходит именно от этих полотнищ, раз в отсутствии их и запахов таких не бывало, а те усы из аптечной витрины не шли уж ни в какое сравнение с этим растительным буйством.

Поросль эта была трех видов. Одна борода поражала пышностью, кучерявостью, другая была более редкой породы—лопаточкой, но чаще бросалась в глаза бородка небольшая, аккуратненьким клинышком, пегонькая, —

и мы с нянькой снова вопили «ура» точно так, как немногим раньше все эти люди и сами оралы, проходя мимо трибун на Красной площади, приветствуя и их, этих добрых людей, и их знамена, портреты, бравые транспаранты, смелые лозунги, девушки подбирали оборванные бумажные лепестки, швыряли ими в толпу, оттуда добродушно пошучивали, какой-нибудь гражданин вынимал из петлицы проволочный цветок или отцеплял от груди красный бант, одаривал одну или другую (ах, как хотелось, я думаю, быть и моей няньке в числе счастливиц, ведь все мы, стоявшие по обочинам, завидовали тем, кто шагал в строю), —

а полотнища реяли на ветру, шевеля щеками, прозрачнели в прогале улицы, лиц на портретах становилось не разобрать, только хмурились усы, только топорщились бороды, как более плотные, более густые на просвет. Так и уходила от нас праздничная толпа, неся над собою эти окаймления, подобно знаменам, или гербам, или хоругвям, оставив и нас оделенными счастьем причастности какому-то высокому последнему порыву, жалким подобием которого, как я узнаю впо-

следствии, можно считать лишь предчувствие соития с живым желанным существом».

«Высокий порыв» здесь прямо сравнивается с чувством к близкому человеку, причем отмечено, что коллективное чувство выше и полнее, чем личная склонность. В этом отрывке выпукло дано нам понять восторженную любовь художника к отчизне, как бы вырастающую из пеленок привязанности к матери.

Легко теперь истолковать нам и столь частое употребление автором слов «усы» и «борода», рассыпанных по всему тексту; ведь известно, что в восприятии ребенка растительность на лице вовсе не отождествляется с мужским полом (и, скажем, отец художника в описываемый период не носил ни усов, ни бороды, о чем свидетельствуют и многочисленные фотографии, и показания свидетелей), если же быть точнее, то подсознательно она ассоциируется с полом женским (и некоторые исследователи для объяснения этого феномена привлекают даже представление о бессознательной памяти ребенка, зафиксировавшей момент появления на свет)...

Последний отрывок мы хотели бы предварить решительным указанием на народность корней нашего художника (в том смысле, в котором говорил и Пушкин о народности в фотографии). Ведь и до сих пор приходится слышать упреки в адрес Фотографа в его якобы эстетизме или даже герметизме, столь чуждым традициям русской демократической культуры (культуры, которая является как бы отчизной художника, второй родиной, как мы убедительно показали выше, лоном в мужском смысле этого слова). Недоразумение это тя-

нется издавна. «Зачем возведено это изящное здание,— писал критик фотогазеты со всей силой недобросовестности, так свойственной тому периоду жизни нашего общества, в рецензии на первую же выставку Фотографа,— если жить в нем нельзя». Нет, можно жить, теперь это многим стало ясно, и весь жизненный и творческий путь Фотографа лишней раз опровергает эту недоброжелательную риторику. Заключительная же часть его детских воспоминаний и вовсе не оставляет места каким-либо белым пятнам в этом жгучем вопросе.

«Шумный день позади, у родителей — застолье, там разговоры и веселые гости, я же выпрошен теткою у бабушки (Танька восседает за краешком праздничного стола и уже перестала конфузиться после двух рюмок мадеры) к себе, в другую комнату, наискосок по коридору, бездетной вдовой брата отца, живущей со своим больным отцом, желтым костяным стариком с седым пухом на черепе. Комната велика, угол с одром старика отгорожен огромным шкафом и занавеской, его самого не видно — не слышно, но мне известно, что на ночь он кладет в банку с кипяченой водою желтые челюсти, и я видел однажды, как от них шли за зеленоватым стеклом пузыри, как если бы они и в банке продолжали что-то шамкать. Тетка, заполучив меня себе, размякшего от бури впечатлений, оглушенного и вялого, усаживала меня все на тот же кожаный диван и спрашивала, не хочу ли я, чтобы она рассказала мне сказку. Сказки теткины я знал уже наперечет, они мне казались весьма пресными после повествования черной старухи, а сама тетка — тоже пресной, доброй и податливой, как подушка.

Никакого сладу она со мной не имела, и я ставил ей ультиматум: только страшную. «Страшную, — умилялась тетка, — вы подумайте!» Она обращалась к шкафу, но там царила полная тишина. «Но какую же страшную? — недоумевала она (преподавала литературу в школе и сама, будучи горожанкой, сказки знала лишь по неловким окультуренным переложениям Афанасьева для младшего дошкольного возраста ловкими нашими литераторами). — Может быть, эту?»

Рассказывала она тоже пресно, монотонно и тщательно, сперва я корректировал ее, подсказывая и поправляя, мол, младший медведь сказал Маше то-то и то-то (тетка благоговейно соглашалась и исправлялась), а дискуссия Колобка со зверями и вовсе протекала по-иному {тетка и здесь не возражала, тая от умиления}, но потом уж я ленился ее редактировать, пускай себе, если ей так интересно, настораживаясь лишь, если слышал, скажем, знакомую присказку «не садись на пенек, не ешь пирожок» (в ней и нынче мне чудится что-то inferнальное), а там воображал сам себе избушку на курьих ножках, жилище Бабы Яги (и строение это мне рисовалось таким, как на васнецовских иллюстрациях, а головы человеческие на тыне отсылали, в свою очередь, к репродукции с Апофеоза войны Верещагина), а там и дальнюю дорогу с неминуемыми перекрестками и похожую на наш коммунальный коридор, всю заставленную рухлядью и завешанную корытами, Ивана-дурака, нашедшего многоголового Змея (Змей норвил полететь на деревню к Глашке или Тоньке, а дурак его не пускал); а там и сам себе я представлялся Иваном, пролезшим через ухо Сивки-Бурки (операция самая

простая, сродни той, что проделывал оловянный солдатик, чтобы показаться из головы рычащего танка), в нарядном кафтане и собольей шапке (сей час предстать перед принцессой); начинались и вовсе чудеса: вместе со мной по коридору весело шагали веселые люди с бумажными цветами под усами с бородами, лозунги их оборачивались молочными реками, транспаранты — кисельными берегами, бабушка держала меня за руку, рядом вприпрыжку бежала Танька, засмотревшись на бравого водителя тягача, была здесь и чернорукая старуха, со всеми вместе кричащая «ура», вставало над Кремлем солнце, скот выходил из красного сундучка, сад появлялся из зеленого, щука исполняла все наши желания (ведра сами ходили по воду), а черный ворон тащил у кота изо рта драгоценное кольцо. И не знал я тогда, что получится из моего путешествия, в которое пустился только что, выпадет ли фарт, достанется ли нам всем свинка золотая щетинка с двенадцатью поросятами, дотянемся ли до серебряной ветки с золотой сосны, что растет в тридесятом царстве, в подсолнечном государстве (там распевают райские птицы), зачерпнем ли мы из двух колодцев, с живою водой и с мертвою?» Теперь мы знаем ответ на этот вопрос.

3. ПРОЯВЛЕНИЕ ПЛЕНКИ. СМУТНЫЕ ВИДЫ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Фотоуголок, как называл это дядюшка, был устроен в темной кладовке (быть может, бывшей комнате бывшей прислуги в бывшей барской квартире, уж полвека как коммунальной); стол для упражнений, под ко-

торый племяннику было не протянуть ноги (мешали какие-то ящики), был по сторонам сдавлен скарбом преимущественно спортивного назначения: распяленными парами лыж, взрослыми с заткнутой внутрь напитанной дегтем пробкой, детскими, держащимися цветным кубиком от детского конструктора, с нацепленными на отогнутые концы бамбуковыми палками с тряпичными петлями на концах, и велосипедом с проржавевшей цепью и перебинтованными черной изоляционной лентой ручками на месте потерянных резинок (и инвалидность велосипеда рифмовалась в сознании племянника с протезом на месте потерянной дядюшкиной ноги); с могучего гвоздя свисала гроздь норвежек, висела на стене теннисная ракетка с рваными струнами, формой деревянного обода напоминающая в алых потемках мандолину. Этот инвентарь принадлежал соседям, никак не дяде, одноногому солдату последней войны (разве что в довоенном отрочестве он учился играть в теннис), и не тетке-опекунше, сестре его покойной матери, старинной, как остатки старинной мебели в ее комнате, как несколько портретов в овальных рамах, давно не лыжнице и не конькобежице. К дяде имело отношение лишь длинное серое и пыльное собрание сочинений на стеллаже с вырванным в первом томе портретом автора, к тем годам давно уцененное до прозябания в этом чулане (букинисты не брали), отнесенное от книжного шкафа на расстояние, соответствующее (если принимать во внимание масштаб) пути от Мавзолея до Кремлевской стены, и несколько пустых коробок из-под шляп (не знаю, продают ли теперь шляпы в коробках), — дядя был в своем роде фронт.

Старуха знала когда-то давно хорошие времена, но к старости от перенесенных лишений стала чопорной до надменности (даже со своим внучатым племянником, впрочем, не имея детей, она их и никогда не любила), употребляла в разговоре несколько французских фраз, могла кой-что продекламировать по латыни и выжила из ума настолько, что, плохо помня события революции и последовавших за нею лет, громко вслух призывала реставрацию (слава богу, из комнат почти не выходила); ее воспитанник, оказавшийся у нее на руках после ареста его отца и смерти его матери, давно сам ее опекал; по утрам, несмотря на увечье, он жонглировал гирями, обтирался холодной водой; носил усы, считался еще женихом (ему было недалеко за сорок), неплохо прирабатывал к инвалидной пенсии — что-то где-то преподавал, имел льготный автомобиль с ручным управлением (автомобиль в те годы был роскошью) и водил в свою комнату, смежную с теткой, неюных дам, которые не церемонились оставаться на ночь на проходе (тетка обитала в дальней комнате) на его железной с голосистыми пружинами койке (благо старуха была глуховата). Два члена этой странной семьи были очень разными, даром что родные по крови, тетка до карикатурности *бывшая*, он — вполне нынешний и здешний, но друг друга любили и очередной даме, коли старуха вдруг выползала из своего убежища, дядя нежно ее представлял: а вот и *мой антиквариат*, — на что старуха обычно ворчала невпопад что-нибудь вроде *спасибо, я уже попила*.

Фотоделом дядюшка пытался заняться сразу после войны, но бросил и остался совершенным дилетантом,

сохранив, однако, допотопный бачок для проявления пленки и умение кое-как развести реактивы, и нехитрые эти навыки он передал племяннику, который переживал в то время отроческий роман с фотоаппаратом «Смена». У племянника и дядюшки отношения были самые приятельские, старший с младшим не чинился, хоть по возрасту годился в отцы, но виделись они не часто: у отца мальчика было мало общих интересов с родственником-калекой, мать мальчика не доверяла сыну влиянию жизнелюбивого брата-холостяка, пусть непьющего и некурящего из-за осколочного ранения, разворотившего живот и посадившего его на бессрочную диету. Но в то лето было-таки решено сбегать подростка дядюшке на руки — он стал быстро расти, у него полезли двумя пучками черные усы, весной пришлось обновить ему всю обувь, а младшая дочь была мала, и с двумя детьми на даче было никак не справиться. Очень кстати дядюшка, задумав автопробег по памятным ему с военных пор местам, объявил, что ни одну женщину в автомобиль не посадит, а ребенка — пожалуйста. И мать подумала, что, возможно, ее сыну пойдет впрок такое мужественное предприятие.

В дядюшкином «Москвиче» они проехали по прямой до Ленинграда через Тверь и Торжок, свернули на Нарву, прокатились по всему балтийскому побережью до самого Калининграда, возвращались по Литве и Латвии, от Таллинна свернули на Тарту и через Новгород, Псков и Валдай прибыли домой. Во все время путешествия племянник не расставался с фотоаппаратом, на всю жизнь удовлетворив наивный фотографический туристский зуд, нащелкал пропасть пленок, которые осе-

нюю и проявлял самостоятельно в фотоуголке дядюшкиной коммуналки...

Никто не ведает, как пробуждается призвание. Вот будущий художник — в отрочестве он не любит рисовать, а только ломать парты и бить стекла; вот поэт — он начисто лишен музыкального слуха, но проявляет бесстрашие и довольно жестокую предприимчивость в детских драках; тринадцатилетний племянник тоже не отличался аккуратностью в занятиях, разве что не раз был застигнут матерью за прилежным переводом на кальку изображений голых женщин с репродукций живописцев-классиков, и терпеть не мог уроки химии. Однако проявление пленок увлекло его: красный свет, целлулоидный шорох ленты, которую требуется уложить в бачок правильной спиралью (не то слои склеятся и на месте изображения выйдет молочно-фиолетовая клякса), клейкий вкус проявителя на пальцах, кислый запах фиксажа и — сладкий миг — рассмотрение результата, изучение на просвет маленьких прямоугольных кадров с не высохшими еще капельками воды.

Изображение привычного мира, попадая внутрь черной коробочки фотоаппарата, чудесным образом превращалось; негатив очаровывал странностью; была тайна в смутных темных очертаниях полуразрушенных церквей на фоне неба с черными облаками, в серых резцах монастырских стен, в бледности куполов и чернильных потеках колоколен со светлыми трещинами в белом мху; бесцветные камни и бесцветный воздух обменивались глубиной и плотностью бесцветного тона, случайно попавшие в кадр зеваки как один оказывались неграми со светлыми волосами, а на светлых ниточках

провисших проводов сидели, сутулясь, белые вороны. Неужели же можно объяснить это преобразование черного в белое, белого в черное лишь законами физики и химии, о которых, впрочем, племянник имел расплывчатое понятие, объявить эту влекущую неверность и двойность лишь результатом светового преобразования, нет, это было бы глупо, как отрицать реальность сновидений,—

и мальчишке казалось, что открыл этот мир он сам, подобно тому, как в детстве бывал первым исследователем мира подшкафного и задиванного, где живут своей пыльно-мохнатой жизнью, обратной обыденной комнатной, завалившиеся и забытые мелкие вещи; и что белая ворона, на которую так любит ссылаться народное присловье,— не плод чьей-то фантазии, не метафора и не генетическая мутация (в то время наши бедные гены были уже реабилитированы), но таится во всякой вороне, ее лишь надо увидеть — не глазом, так объективом. И, позволив себе порезонерствовать, заметим, что эти-то одинокие бдения в захламленной коммунальной камерке и поддерживали, должно быть, в подростковом драгоценную способность отклонения от наяву данного (на такой ли результат рассчитывали родители, благословив в это путешествие), беспощадно сводимую на исходе детства повседневным опытом, книжками с картинками для раннего школьного возраста, рутинной начального образования, телевизионными передачами и бестрепетной тупостью взрослых — к созерцанию лишь скучного, как солдатское сукно, покрова бытия, заглянуть под какое и призвано искусство.

Отдавшись вдохновению, племянник из-за закрытой двери капризным голосом отнекивался от чая с вкусным тортом, который звал идти пить дядя, и смотреть телевизор; проявленные пленки, как прищемленные змеи, свисали с веревки в красном полумраке; отработанный проявитель сливался в поставленное для этой цели ведро, туда ж — и фиксаж, что образовало в посудине вонючее химическое болото, вода же для промывания бралась из кувшина, с которым приходилось-таки иногда, покидая убежище, выбегать на кухню. Дуря от духоты и спертости, отпихиваясь от норовящих тронуться с места лыж, парень нетерпеливо вглядывался во все новые и новые кадры, чудесным образом извлеченные им самим только что из небытия. Сперва он радовался им наивной радостью фотографа-дилетанта — радостью узнавания в вывернутом наизнанку изображении знакомых развалин и руин, по которым недавно скакал козлом с фотоаппаратом на груди, пока дядюшка задумчиво ковылял по дорожкам, к тем годам уж расчищенным: вот искрошенные временем и артобстрелом стены Иван-города, вот останки дворца прусских королей в бывшем Кенигсберге (помнится, он нырнул в темный проход, запрыгал вверх по винтовой лестнице, пока не обомлел от страха перед внезапно раздавшейся под ногами гулкой пустотой); вот двор монастыря возле Пскова, там они застали забавную сценку — попа в подряснике верхом на мотоцикле, жаль — не успел щелкнуть; а вот солидный, как царь-колокол, бронзовый новгородский памятник российской государственности... Пленки не были помечены легкомысленным подростком, кассеты перепутаны,

проявлял он их вразнобой, так что недолго ему удалось по проявленным кадрам последовательно проследить их недавний маршрут: уже не мог он сказать в точности, снято ли это вот здание в начале путешествия или на возвратном пути, не угадать было — на чьей земле сидит на этом вот снимке дядюшка, обнимая за плечи присевшего к нему на корточки племянника и привалившись спиной к дверце своего автомобиля, смущенно глядя в объектив, теребя усы, — на эстонской ли где-то под Пярну, на литовской ли в районе Ниды, вокруг один и тот же серый прибалтийский песок, та же серая балтийская вода.

И чем больше племянник вглядывался, то и дело потирая уставшие глаза, в эти любительские, наспех сделанные кадры, тем меньше узнавал местность или постройку; обильные впечатления и так-то смешались в его непривычной к географии голове, в негативном же варианте он и вовсе не мог уж распознать ни одного ориентира и совсем заблудился.

Фигуру девушки он обнаружил на одной из таких безымянных пленок — она сидела под светлым хвойным деревом, черное лицо полуприкрыто белыми солнечными очками. Дальше шли какие-то смутные виды, потом снова она, спиной к объективу на фоне неопознаваемого дюнного ландшафта с отметинками сосенок вдалеке — почти белое загорелое тело на фоне темного чистого песка, и кровь бросилась юнцу в голову — девушка была обнажена, а светло-серая ее спина — изогнута, плечи чуть сведены вперед и наклонена голова, отчего бедра казались особенно круглыми.

Конечно, он сразу же узнал ее, их случайную попутчицу, одинокую путешественницу с сумкой через плечо, какие только входили тогда в моду, с талонами автостопа (была в те годы такая практика, потом быстро иссякшая), это она снимала их с дядюшкой на привале, но поразило его другое: племянник отчетливо помнил, что не фотографировал ее — ни одетой, ни тем более голой. Разумеется, все подозрения пали на дядю, хоть тот никогда к его фотоаппарату не притрагивался, а парень с аппаратом ни на секунду не расставался. Но даже если и предположить, что дядюшка стянул у него камеру потихоньку, снимал девицу украдкой, не мог же он потом не утаить такую-то драгоценность, не мог о ней забыть, не мог не изъять пленку и не спрятать подальше. Впрочем, и это предположение никакой критики не выдерживало: все отношения дяди и девицы проходили у племянника на глазах, они ни разу не уединялись, да и можно ли это назвать отношениями?.. Он вертел этот кадр и так и эдак, смотрел на него, прищуря то один, то другой глаз,, подносил к красному фонарю вплотную и все отчетливее видел даже начало канавки между ягодицами, даже складку кожи на правом боку, прижатый локоть и вытянутую руку, как если бы девушка в задумчивости чертила что-нибудь на песке. И эти всплывающие перед его воспаленным взглядом на мутном негативе подробности были продолжением той же тайны превращений этого мира...

Было девице лет восемнадцать-девятнадцать, она, как и они, *путешествовала по Прибалтике*, начав свой путь в Ленинграде. Была она, кажется, студенткой, впрочем, это позабылось. Подцепили они ее между

Таллинном и Ригой, она сделала с ними от силы триста *верст*, как выразался дядюшка. У нее был веснушчатый, очень маленький носик, сама плотненькая, крепкая, тренировочные штаны закатаны выше икр, на голове панама, колпаком сидевшая на стриженных под горшок темно-русых волосах. Сперва она держалась весьма независимо, хоть дядюшка с ней и балагурил, все поправляя зеркало заднего вида, но вскоре выяснилось, что зовут ее *ну, Алла*, что в Риге ее никто не ждет, что, осмотрев достопримечательности, пойдет она снова голосовать на шоссе, так что нет у нее никаких резонов не составить им компанию и дальше, по пути в Литву.

С переднего сиденья племяннику ее не было видно, но он уже ревновал ее к дядюшке, у которого все так складно получалось, завидовал его мужской хватке, считая втайне, что дядюшка для девицы так же безнадежно стар, как он сам, увы, для нее безнадежно молод.

Достигнув предварительного соглашения, дядя и вовсе *раздухарился* (племяннику этот его сленг казался устаревшим, а значит — чем-то неловким, он стыдился за дядюшку, который, разговаривая так, будто заискивал перед молодежью) и предложил устроить *маленький закусон*. К немалому удивлению племянника, девица с удовольствием согласилась, заявив, что и она с утра ужасно проголодалась.

Они съехали с шоссе к морю, решено было сперва искупаться. Едва машина остановилась, девица, захватив полотенце из сумочки, побежала по песку между соснами, и оба смотрели ей вслед — дядюшка, поже-

вывая ус, племянник, хоть и незнакомый с женской психологией, одной лишь пронизательностью мгновенной влюбленности чувствуя, что, коли девушка бежит вот так, свободно и весело, то знает, что вслед ей смотрит мужчина, которому она хотела бы нравиться. Он понимал, что уж он-то ей безразличен, и она казалась ему недоступной и замечательно красивой.

Дядя, посвистывая, распаковывал и раскладывал на земле, на подстеленной клеенке, провизию, племянник скучно жевал яблоко. Дядюшка подмигнул: пойдём, мол, и мы искупнемся. И заковылял по песку, племянник поплелся за ним. Они взяли в сторону от того места, где девица оставила свою одежду, дядюшка разделся, отстегнул протез и поскакал в воду; племянник стянул рубашку и уселся на песок, все поглядывая вбок. Инвалид рухнул в воду, фыркнул и поплыл, сильно загребая руками; племяннику видно было, как девица выходила из воды, во рту у него пересохло. Кожа ее блестела, плавки и лифчик казались лишь двумя узкими и тонкими полосками, пока она вытирала поочередно крепкие короткие ляжки, сгибая то одну, то другую ногу. Потом она закинула полотенце на плечо и помахала юноше рукой. Он вяло махнул в ответ. Она шла к нему, улыбаясь, морща веснушчатый носик; дядюшка выползал на берег, подтягиваясь на сильных руках; потом он сел в мелкой воде, прихлопывая себя ладонью по сильной шее и плечам. Девица опустила рядом с племянником: что ж ты не купаешься? Не хочется, был ответ. Она молчала. Юнец глянул на нее украдкой, заранее покраснев, она с выражением страха и жалости, как на раздавленную собаку, смотрела в сторону берега — дя-

дя скакал к ним на одной ноге, а розовая его кулья, сморщенная на конце, сильно моталась. Девуца встала и побрела к машине.

Во время завтрака дядя по-прежнему шутил, ухаживал за нею, не замечая, казалось, ее меланхолической задумчивости. Он предлагал ей и то и это, она же лишь раз вяло откусила от бутерброда с колбасой да покрутила в руке помидор. Она поднялась на ноги с явным облегчением, когда племянник, выручая их обоих, предложил ей его и дядю сфотографировать,— этот самый кадр он и проявил уже, сохранивший навсегда ее тайное присутствие по другую сторону объектива: здесь они, там она.

Собрались опять в дорогу. Племянник был отсажен назад с тем, чтобы освободить впереди место для *юной леди*. Дядя все поправлял ей сиденье, проводя невзначай по плечу рукой и неумоимо болтая, племянник же не мог насмотреться на белую полосу на ее шее там, где кончалась стрижка и вился легкий светлый пух. Дядюшка развивал планы их дальнейшего путешествия и (племянник не успел как следует разглядеть) положил ей руку на колено. «Да не надо же вам»,— пролепетала она жалостливо, по-бабьи, и ее румяные щеки сделались свекольными.

В Риге они распростились у памятника Райнису: у нее вдруг обнаружили какие-то неясные дела. Дядя уж не свистел, выводя машину прочь из города, гоня ее по трассе. Он молчал, лишь изредка постукивая рукой по своей деревяшке... Появление девушки на пленке было необъяснимым.

Пожалуй, впервые парень желал бы во что бы то ни стало вернуть негативному изображению его изначальный вид: пусть черное будет черным, пусть белое станет белым. Но для этого, знал он, требуется специальное устройство, новое оптическое преобразование, но фотоувеличителя у него нет и невесть когда будет. И он с выступившими на глазах слезами вглядывался в маленький кадрик, дрожащий в его руке: алел песок, просвеченный красным фонарем, будто окрашенный печальным закатом, и смуглое женское тело розовело тоже. И помимо жаркого юношеского тока крови испытывал племянник и волнение от какой-то неясной догадки, которая рано или поздно приходит каждому художнику: что проявление пленки — вовсе не техническая стадия обработки материала, но проявление неведомого замысла, существующего в мире или таящегося в глубине воображения.

Свернув пленку трубочкой, он воровски сунул ее в карман, вытер руки, выключил фонарь. В комнате дядя и старуха сидели у телевизора. Балет кончался, начинались новости. Дядя кивнул ему и взглянул на часы: закончил? Угу, ответил племянник и сел на стул. Дядя подвинул ему чашку чая, блюдце с куском торта. Надо было ехать домой. Но племянник сидел, уставясь на экран. Там, как повелось со времен последнего русского императора, боролись за разоружение Старуха слушала неподвижно, морщинистая, расплзшаяся, предпочитающая ничего не помнить с той поры, как она перестала быть счастлива. Одноногий инвалид, которого соседки считали завидным женихом, жевал ус. Пленка лежала в кармане, дядюшке о ней племянник никогда не

скажет, и юноша не знал, куда девать нескладные руки и слишком большие ноги. Телевизор светился. Чай остывал. До закрытия метро было время, и оставался недоеден торт.

4. УРОКИ ЧЕРНО-БЕЛОЙ ПЕЧАТИ

А т е л ь е, она всегда говорила а т е л ь е, Бог весть кто выучил ее, не мастерская, не лаборатория, не фотография, но *ателье*, позвони в четверг в ателье или приходи в ателье вечером, —

косоглазое здание на Каляевской, которое снесли нынче, а тогда с забитыми щитами окнами по одну сторону фасада, с пустыми окнами по другую и с игрушечной фотомастерской на первом этаже (комнатушка-приемная с приемщицей Бертой, тучной, в седовато-лиловых химических кудрях, шестидесятилетней лукавицей с грузными очками на носу-еврее, разностекольными под стать самому зданию, плюс два и плюс семь с половиной, с лиловым же большим пальцем левой отечной руки, каким она подсовывала под квитанции обрывок прозрачной на сгибах копирки; маленькая студия в черных драпировках со старой четырехной деревянной камерой, снабженной черной гармошкой, с круглопузым сумрачного вида малым лет, как я теперь понимаю, под сорок, фотомастером Анатодем в синей с полосой рубахе, в бордовом с искрой галстукке, в черных нарукавниках и всегда под банкой; чрево этого заведения, наконец, целый выводок закутов и каморок, одна из которых именовалась кабинетом, содержала стол с черным аппаратом, пачкой пыльных бумаг и фотосним-

ками синюшных младенцев под стеклом, не востребованными капризными клиентками, стул и заляпанную бордовым портвейном тумбочку с коркой хлеба на замасленной газете, с липким граненым стаканом, —

другие были отведены под лабораторию), сюда в течение месяца своей юности я являлся как на работу, имея в карманах кулек карамелек, пачку сигарет с фильтром болгарского либо кубинского производства, бутылку какой-нибудь сладкой крепленой дряни (все на деньги, сэкономленные от домашних закупок, кино и школьных завтраков). Я опасливо заглядывал в приемную, дожидаясь, пока старуха поднимет глаза, признает, надует дурашливо щеки и покачает кудрявой головой, мол, рано; тогда приходилось выкатываться на улицу и битый час болтаться на студеном ветру по противоположному тротуару, выжидая, пока фотомастер в каракулевой шапчонке-пирожке и цвета тины с плесенью демисезонном пальто с большими карманами-клапанами, с помятым толстопузым портфелем в руке, покачиваясь, покинет ателье, освободив мне дорогу, ведь постороннему не место в казенном учреждении после конца рабочего дня, это всякому ясно, а мог ли знать мастер, что я — не посторонний. Заходя на приступ повторно, я был уверен, что толстуха Берта кивнет и подмигнет мне. Но и теперь надо было ждать. Я топтался в приемной, наблюдая, как бессмысленно долго перебирает она сардельками-пальцами свои бумажки, копается с квитанциями, ковыряется в жестяной банке с мелочью, стуча монетами, кряхтя и вздыхая; нечего и думать было приступать к делу, пока Берта не переобует разношенные туфли, не залезет в толстые боты, не

облечется, сопя, облезлой шубой, не закрутит поверх древнего меха шляпы с полями пуховой платок, не перевооружит свой нос, сменив служебные очки на рассчитанные для хождения по тусклым вечерним улицам, и не повесит на согнутую больную руку дерматиную сумку, страдающую стригущим лишаем и проказой одновременно. Но прежде чем покинуть помещение, она крикнет Галину (да-да, ее звали Галиной, я твердо вспомнил, Галиной), чтоб нудно перечислить, что нужно выключить, прикрыть, запереть и проследить, и только после этого вывалится наконец на обледенелый тротуар, —

и дверь за ней можно будет замкнуть, а в приемной погасить свет. Мы минуем студию, где оставляем лишь притушенное дежурное освещение, мы придуренно говорим шепотом, не чувствуя себя вправе законно пребывать в этом теплом месте (это после сентябрьских-то островков чахлой травы в сквозных старомосковских двориках, октябрьских-то сырых лавочек в мокрых сквозящих скверах, закаменевших от ранних заморозков ноябрьских земляных полянок за заборами замороженных строек), мы крадемся мимо двери кабинета, будто нас может подслушать пустая портвейновая посуда, мы попадаем сперва в затененную комнату с ярким прямоугольником на подставке увеличителя (здесь воняет реактивами и фотоэмульсией), потом оказываемся в следующей, где в огромной раковине слой на слое плавают в воде многие отпечатки розовеющих в свете красного фонаря разнополых одинаковых морд, и, наконец, мы дома (здесь уютно урчит лениво поворачивающийся валик электрического глянцевателя,

здесь пахнет табачным дымом и дешевой косметикой, каковой он нигде никогда не нюхал). На сооружении, напоминающем пожилую парту, валяются ее мелочи, какие держать она могла, должно быть, только здесь, никак не дома под придиричивый взглядом взрослых: пластмассовая трубочка с облизанным столбиком отчаянно-алой губной помады, жестяная коробочка с самоварной тушью для ресниц (такую в те годы изготавливали парикмахерши и косметички по рецепту, надо думать, гуталина, взяв секрет у чистильщиков-айсоров), коробочка, в которой от плевков и упорной работы начинающей лысеть щеточки (детской щеточки для зубов) проелась белесая плешь, толстый коричневый карандаш со следами молодых задумчивых челюстей с неочиненного конца, с измусоленным грифелем с другого (для обведения губ), худенький черный, почти дочиста съеденный карандашик, большая драгоценность (для подведения глаз), банка штукатурной крем-пудры (она то и дурманила меня, по всей вероятности), склянка то ли белил, то ли румян и, наконец, вонючая, как керогаз, солдатской конструкции бензиновая зажигалка с откидывающейся крышкой и ребристым колесиком для добывания искры, —

вот, собственно, и все, что составляло загадочную крестословицу очаровательного и ненадежного, как мои тогдашние чувства, ее женского мирка, который я вдобавок (при неизменных знаках ее одобрения, гордо отдававшихся в моей глупой душе) населял тут же и бутылкой вина, и фильтрованными сигаретами, и карамельками в парафиновых фантиках, в какие я за немногие годы до того играл с соседкой по лестничной клетке.

Правила были просты: поддевая фантик, сложенный квадратиком, ногтем большого пальца, нужно было накрыть им фантик партнерши и таким образом пополнить свою коллекцию, причем я отчаянно жульничал, доводя бедняжку до слез, до того, что на нашем семилетнем снегу она застенчиво рисовала палочкой на возвратном пути из школы расшаркивающееся закругленное л...

Появлялся стакан, наскоро сполоснутый в промышленной ванне, какой-нибудь гниловатый фрукт, мы выпивали, она посасывала конфетки, я застенчиво проникал ей под кофточку, под подол, она хихикала, просила налить еще, шуршала бумажками от конфет, командовала отвернуться. Со стуком в висках я считал до двух, пока клюнут в кафельный пол оба ее мягких сапожка, но не оборачивался, избегая ее сердить. Сейчас отстегнет она резинки от чулок, вытянет из-под эластичного пояса (колгот тогда еще не изобрели), поскрипывая ногтями по капроновой комбинации, тряпичные свои трусики, сунет их в сумочку и потребует погасить свет. Тогда я расправлял в потемках по сдвинутому в ряд жестким стульям свою нейлоновую курточку (полагая, что горизонтальное положение столь же обязательно, как выключение света и хранение трусов в ридикюле до истечения контрольного времени), укладывал ее, все хихикающую да жующую, на спину, наваливался (погоди ж ты, дай потушу сигарету) и, навалившись, подтягивал к ее бедрам подол юбочки и подол комбинации (отчего, дурень, надо было это делать в такой неудобной позе). Расстегнув и стащив до колен собственные штаны, придерживая ее, пусть она и не пыталась ускользнуть, од-

ной рукой, я копался у себя в трусах, наконец, поймав себя и примерившись, принимался копать в ней, сдергивая книзу края чулок, отмахиваясь от докучливых многочисленных резинок, не сразу находя меж худых ее ляжек сухую щетинистую промежность, плутая, пока не нащупывал-таки липкое место, расползающееся под пальцами, как раздавленная ягода. А там снова пускался на розыски сбежавшего за время рекогносцировки своего инструмента.

Она терпеливо выжидала, пока все будет готово. И когда, наконец, я прилаживался, прислонял головку к влажному и мягкому месту, она не выдерживала (подожди, дай я сама) и сварливо поправляла все своей спорой ручкой. Я принимался тыкаться в нее пощеньячи, ничего не чувствуя, пожалуй, кроме истомного волнения, дергал задом вверх-вниз, подминая ее и потя от лишней одежды и усердия. Она и эти приемы терпела довольно снисходительно, как, скажем, неизбежные неудобства в переполненном транспорте, лишь справляясь через краткие интервалы времени, мол, не хватит ли, ах нет еще, ну ладно, и никогда не угадывала, пролилась ли уже из меня горячая прыгучая капель, ибо я, стараясь ее обмануть и продлить соитие, кончал втихую, как мышка, и продолжал как ни в чем не бывало елозить, хотя напора уж не было. Но рано или поздно обнаружив подлог, она решительно высвобождалась, приговаривая *ладно, ладно уж, довольно с тебя*, и я слезал с нее, стыдливо подтягивая трусы и путаясь в штанинах; она тут же одергивала юбчонку, становилась чулками на грязный холодный пол, отворачивалась, доставала из сумочки трусики, влезала в них, подстеги-

вала чулки, и лишь изредка, да и то на мгновение, мне удавалось подсмотреть бледно-землистые полосы обнаженной кожицы на ее мальчишечьи поджарых ногах. После процедуры я бывал немедленно усаживаем за фотоувеличитель, —

ведь я был ее ассистентом — вдобавок к портвейну с конфетами, — довольно усердным и немногого требовавшим в награду, пусть авансом.

Эта подмосковная девица лет семнадцати от роду с тощей грудкой, острыми плечиками, худышка с плоским задом и узким тазом, бойкая, несмотря на пролетарскую свою недокормленность, сметливая, с маленькими карими глазками-пуговками и носом уточкой, покрытым веснушками, была первой женщиной в моей четырнадцатилетней жизни. Как положено, она доводилась старшей сестрой моей однокласснице (но не той, с которой я играл некогда в фанты); я увидел ее летом на пляже на Филях, был сражен немыслимым ее кокетством, невиданными приемами завлечения, как-то: облизыванием верхней губы розовым язычком, передеванием лифчика прилюдно, острым подглядыванием карей пуговицей из-под распущенных жидкопепельных мокрых волос, просьбой постоять *на атасе* при выжимании мокрых трусов за кустами. Она вынула их из-под подола сарафана и стала отжимать, ухмыляясь. Не испытывая ни торжества, ни ужаса, я улегся с ней в пыльную траву на этом чахлом берегу. *Не здесь же сумасшедший, а если кто пойдет*, пробормотала она приличную делу формулу и положила меня между раздвинутых ног. Все случилось споро, как у птиц, и я был не на шутку сконфужен, когда к моему страху и

изумлению из меня потекла горячая струйка, обжигающая изнутри меня самого. Она деловито обтерла и меня и себя своими мокрыми трусами, повела ляжкой о ляжку, будто было ей между ног щекотно, обронила *пойдем а то ждут неудобно*, и мы вернулись к компании моих сверстников, из которых никто, кажется, не разглядел, что из-за кустов к ним вышел новый человек, не тот, кого знали они под моим именем. Я сделался ее пажом. Конечно, она понимала, что она у меня первая, и пользовалась этим с ловкостью. Я был покладист и не ревнив, лишь бы она позволила повалить себя и раздвинула ноги. Той осенью мы определенно застудили бы все потребное для наших скромных удовольствий, если б она не поступила в ноябре лаборанткой в это самое а т е л ь е. И вот, сидя за фотоувеличителем, полный лихости и гордого сознания своей удачливости (в те годы любовь еще не опустошала, над случайным моим ложем еще не парила мутноватая звериная грусть, неизбежная спутница всякого соединения, которое, как мы научаемся понимать рано или поздно, всего лишь еще один обманно-приторный шажок к тому, что весьма приблизительно называют смертью), в свете красного фонаря я рассматривал опрокинутые изображения многих и многих лиц. В ходу были паспорта старого образца с фото три на четыре (мне ли не помнить этого), и граждане со сверхъестественным упорством поголовно фотографировались в этой кукольной фотографии, подставляя закаменевшие от сосредоточенности свои лица под пристальное око допотопной камеры мастера Анатоля. Снимки как один были безобразны. Одинаково уродливые, одутловатые или костистые, эти рожи наве-

вали кладбищенскую тоску, разогнать какую-то можно было только сардоническим хохотом. Подолгу мы с подружкой покатывались со смеху, проецируя на фотобумагу одну за другой незамысловатые рожи, самим народом находчиво названные протокольными. Были здесь в большом количестве надутые спесивыми шестнадцатилетними соками обоих полов поросята с невысокими лобиками и строящие торжественную мину при вступлении в обманную игру с государством, прикалывавшим с фальшивой улыбкой паспортистки их будущие убогие судьбишки к первому в их коротенькой жизни удостоверению личности. Что из этого выйдет, можно было разглядеть тут же: заморенные женщины, задержанные и озлобленные матери семейств и хозяйки, сизомордые даже на черно-белых фото пьющие горькую работяги или совслужащие мужеского, судя по пиджакам, полу с тоскливыми взорами парнокопытных животных, навьюченных и забытых на жаре, устававших даже отмахиваться от мух. Ни на одном снимке не было не то что подобия улыбки, но даже проявления живости где-нибудь в уголках губ или уголках глаз, даже проблеска сознания, —

и мы смеялись до упаду, подталкивая друг друга локтями, мол, гляди, гляди, что за рыло, надо же, а эта морда, сдохнуть можно, а тот болван, еще почище, ей-богу, да нет, ты только взгляни, тетка-то, тетка-то сморгнула, придется пересниматься, да только вряд ли ей это поможет, —

а собирательное протокольное лицо народа, застывшее перед казенным объективом, желая *выглядеть* на официальном документе, смотрело на нас кол-

лективным взглядом населения, смотрело с немой и тусклой укоризной, на нас, двух расшалившихся и грешных своих детей, урывающих у нищего своего времени, у жадной на исполнение самых простых человеческих желаний нашей страны, в нерабочие и послеучебные часы, тайком от родителей, учителей и начальства бесхитростные свои тайные радости, не скрашенные ни страстью, ни любовью, ни теплотой, одним лишь вот этим смехом, ибо были мы юны, глупы, беспечны, человеческие детеныши, не ведающие еще ни что мы, ни где, ни что с нами делают... Красный свет фонаря, ванночки с проявителем и фиксажем, десятки, сотни покойницких морд, которые приходилось усердно умывать в большой раковине, усердно сушить и глянцевать, спертый воздух и неряшливый запах, хилые девчоночьи ноги с несоразмерно большими ступнями в несвежих чулках на неметеном казенном полу, шуршание карамелек, вкус дешевого вина на устах, безвкусные мокрые поцелуи, торопливые соединения в ворохе ненужной одежды и боязливое ожидание, как бы кто не пронюхал-таки, чем мы здесь занимаемся беззаконно в государственной лавочке за закрытыми дверями в этот поздний зимний час посреди заметенной Москвы, —

так бы все и шло, пожалуй, если б Берта не слегла с гриппом (я и сейчас вспоминаю эту старуху-еврейку с симпатией, ведь была она явно чудачкой, а помогала нам вполне бескорыстно, глядя на дело ветхозаветными глазами, с простотой и мудростью). Пару дней я не мог дозвониться до ателье, никто не брал трубку, и, пряча во внутреннем кармане приторно-сладкий кагор, два мандарина и шоколадный батончик, я прикатил не-

звано, переполнившись бродящими, рвущимися наружу соками. Нежилой дом вымер, витрина мастерской черна и пуста, но, прильнув к задрапированному окошку студии и продышав на стекле рваную дырочку, я почувал в глубине слабое красное мерцание. Я дернул дверь, она подалась, я шагнул в темную приемную, столкнувшись лбом с рогатой деревянной вешалкой об одной ноге, прижал к груди скромные свои гостинцы и, шаркая, стал двигаться наугад, вытянув вперед свободную руку. Наткнулся на обтянутый клеенкой высокий стол, напоминающий пюпитр, для съемок лиц младенческого возраста, узнал под пальцами пупырчатую холку дырявого пластмассового коня, коим фотограф, мрачно манипулируя и всхрапывая (что имитировало ржанье), добивался от несмышленных клиентов оцепенелого ужаса, и принимавшихся истошно выть, лишь когда это выражение успевало попасть на фотопластинку. В конце коридора забрезжил путеводный красный свет. Я хотел было окликнуть Галину, но звуки удержали меня. Я добрался до порога комнаты для отмыывания отпечатков, там шла нешуточная борьба. Глаза мои обвыкли, я отчетливо разобрал фигуру фотомастера, вполне одетую, размашисто и напористо, с толчками и пируэтами вращающую крупным задом, как если бы он крутил хулахуп. Под его полосатым могучим животом что-то белело, и я скорее догадался, чем рассмотрел, что это голый маленький задок моей скромной подруги. При каждом раскачивании она ойкала, взвизгивала, плечики ее мотались как тряпичные, головка болталась над самой раковиной, на краю которой она лежала животом. Должно быть, немые умытые морды, плавающие в раковине

слоями, и сейчас смотрели на нее оттуда все с тем же тоскливым осуждением. Ручки ее сжимали фаянсовые края так судорожно, будто она сопротивлялась быть утопленной, ножонки, обутые в сапоги, что не могло не удивить меня, совсем иначе представлявшего себе всю механику этого дела, болтались, как ватные, лишь иногда судорожно поджимаясь, будто со страха перед высотой. Но ни жестокость фотомастера, ни полная беззащитность бедняжки не вызвали во мне ни гнева, ни сочувствия. Скорее, меня заворожили непривычные для моего слуха раненые клики любви, что она издавала.

Анатолий продолжал подкидывать и терзать лаборантку. Она была так податлива, словно и впрямь стала голосистой куклой, и он прочно держал ручищами ее щуплые тазобедренные кости. Наконец, не выдержав грубой и дерзкой работы, что свершалась внутри ее слабого тельца, она вся испружинилась, изогнулась, застонала, сжимая смертельно зубы, а потом с тяжким криком рухнула лицом в раковину, и от ее патлатых волос пошла по воде рябь. Тут маэстро всхрипнул точно так, как изображал на сеансах коня, потряс перед собой ее обмякшее тело, снял с себя и поставил на пол. Леонько ее отстранив, он зачерпнул пригоршню воды, точно хотел напиться, помыл себя, потер, стряхнул руку, будто высморкавшись в пальцы, поджал живот и выпятил зад, убирая хозяйство и застегивая ширинку, и не спеша удалился мимо меня в свой кабинет, обдав на прощание смрадным запахом пота и перегара. Девочка прислонилась к краю раковины, в красноватом полусвете ее изумленное и глупое лицо казалось мне красивым; глаза смотрели в пространство пусто, она едва

улыбалась. Я видел потом на женских лицах это выражение туповатого изумления и никогда не переставал изумляться ему в свою очередь, опровергавшему начисто тома мужских сонетов, стансов, баллад и прочей дури, насочиненной со вздохами о половой любви. Через минуту Анатолий вышел из кабинета в своем драповом пальто, в примятом пирожке, с портфелем гармошкой, она слабо крикнула вы уходите, ответа не последовало, лишь покидая а т е л ь е, он произнес безо всякого выражения три на четыре пятнадцать раз по три, четыре на шесть с половиной каждой позы по штуке. Дверь хлопнула, и он растворился в тогдашнем декабре,—
навсегда.

Я тоже выбрался на метель, оставив лаборантку наедине с фотоувеличителем, глянцевателем, парфюмерными банками и бензиновой зажигалкой с кремниевым колесиком, под взорами наших людей, лица которых три на четыре предстояло ей отпечатывать, проявлять и фиксировать. Я зубами вытянул из бутылки пробку, пил приторное вино на снегу, без вина будучи пьян, плакал, но не от обиды, нет, от хмельного восторга нового знания, от благодарности ей и будущим своим подругам, от горячего тока жизни, ведь в те годы мы еще не ведали страха, правда, страха, который заставит нас позже поверить в искренность, доброту, сострадание, во все слова, что придумали люди, пугаясь одиночества и смерти; ведь мы были только любопытными пчелами, летящими от цветка к цветку, только смеющимися пчелами,—

и пока мы смеялись, малолетние греховодники, прижимаясь друг к другу в старом домишке на Каляев-

ской что снесли нынче наедине с народом и судьбой в кукольном фотографическом ателье кто выучил ее этому слову.

5. МОТИВ КОРТАСАРА: УВЕЛИЧЕНИЕ

Нервный юноша хочет стать фотографом. И вот перед ним курортный снимок (группа отдыхающих на фоне фонтана), его принесла клиентка (ноги толстые, толстый зад, грудь большая, сама крашена перекисью водорода, но стрижка аккуратная и молодая шея): вы фотомастер? Глупые глаза растеряны: вот, посмотрите, можно переснять отсюда два лица, напечатать отдельно, я и подруга? О чем разговор, сколько штук, вас я вижу, но где подруга? Это друг, сознается заказчица, вспыхнув, вот этот товарищ.

Внизу подпись (черным шариком по негативу, белым ученическим почерком на отпечатке): Гурзуф. И лаборант (он лаборант, никакой он еще не мастер) по молодости удивляется вслух: он ведь тоже был в Гурзуфе как раз прошлым летом. В августе, волнуется женщина, тоже в августе?

Теперь представим себе юношу двадцати одного года на рубеже двух десятилетий: он слушает Сержанта Пейпера и Белый Альбом, он стрижется (не стрижется) длинно, он шатается по кафе, валандается большей частью без дела, сексуальный его опыт, как у многих мальчиков и девушек его поколения, далеко обогнал опыт душевный, (что, впрочем, в своем роде и гигиенично), он — недоучившийся студент, от армии освобожден и хочет стать фотографом по врожденному ли

любопытству к вещному миру, по отвращению к точным наукам (при известных к ним способностям), по гуманитарному ли воспитанию на руках женщин (при отсутствии склонности к музыке, живописи, словесному сочинительству и даже иностранным языкам), вот вам и источник неудовлетворенности, а значит и честолюбия, созидательных порывов и несколько истерического прилежания в выбранной области, впрочем, спазматического.

У юноши не развита воля, он подвержен точке и мечтаниям. Ничего не умея, находит и холит в себе Призвание, и сам уж очарован тем, что у него выходит (не выходит у него пока ровным счетом ничего), а пуще — тем, что получится впредь, делит время свое (а времени у него — вагон, даже в лаборатории предоставлен самому себе) между краткими запоями вполне дилетантского творчества и длительными мечтаниями (подчас с вином и подружками — тоже свойства весьма сомнительного) о скорой награде и, как водится, признании. Вот сейчас снимки его возьмут на выставку (на какую, он их никому не показывал), опубликуют на обложке иллюстрированного журнала (какого, он их никуда не посылал), его заметят, откроется перед ним прямая блистательная стезя (не знает еще ничего о противоборстве художника и стихий, как естественных, вроде отсутствия погоды, так и вполне сказочных, исполненных то страха, то соблазна), и, разумеется, томится, рвется прочь в волны вольной профессии от постылой необходимости прозябать в фотомастерской за пересъемкой, увеличением, черно-белой печатью и ретушью; несправедлива жизнь к молодому таланту, опу-

тывает рутинными обязанностями, унижает потребностью зарабатывать себе на карманные расходы (после отчисления из университета отец — не выдает), но и уволиться нельзя, пойти по Руси странником с фотокамерой на груди, начнут насильственно трудоустраивать, пока сюда не зачислился — участковый не раз им интересовался, —

душно; сиди в темной комнате, переснимай насупленные лица с карточек паспортного размера, ретушируй, отпечатывай, вручай простоватым старушкам, которые при взгляде на твою работу тут же и зальются слезами (и чем здесь развлечься). Отчего умирают их сыновья, старушки рассказывают охотно: замерзли в сугробе, угадали попасть на производстве под пресс, каток, высокое напряжение, а в такую вот духоту и жару (горят даже за городом торфяные болота) приставляются дома под утро от остановки сердца в отсутствии опохмелки или хоть таблетки нитроглицерина (я-то ему говорила, но Лидка, Наташка, Зойка, как разошлись, только деньги давай, костюм из пенсии сама ему брала, а она права, детей тоже кормить нужно, в нем и схоронили, не успел поносить), но не всегда находятся у старушек индивидуальные фото, бывает, приходится увеличивать беззаботное лицо одного из трех четырех солдатиков, обнявшихся за плечи и талии и почти неотличимых друг от друга (снимок перед демобилизацией), а то и окаменелое с молодыми усами лицо притюкнутого парня в топорщащемся черном костюме под руку с так же замороженной Веркой, Зойкой, Наташкой в фате и белом платье (на казенном ковре в день регистрации акта их нового праздничного гражданского состояния).

Сливаются эти лица для нашего юноши в одно напряженное, глаза уставлены в объектив, не сморгнут, и при увеличении, при внимательном вглядывании в само это выражение (в само отсутствие выражения), кажутся различимы (в безжизненности взора, в оторванности пуговицы у ворота) будто признаки будущей скоропостижной гибели (что ж, наш юноша прав, в том и прелесть фотографирования, что камера — соглядатай, камера — разоблачитель). И вот подсматривает он обрывки чужой, незнакомой ему жизни (и смерти) в замочную скважину своего ремесла, кажется себе первооткрывателем того, что спрятано было и от равнодушного фотографа, и от самой природы...

Заказчики — все больше женщины: то печатаешь дачные снимки (пятилетний бутуз держит в руках белый гриб), то из туристического похода (клиентка в кедах, в обтягивающих большие ляжки штанах помешивает в котле ложкой, потом она же, обнажившись до купальника, позирует с закрытыми глазами, будто играет с фотоаппаратом в жмурки); тут и неуклюже-развязные дурищи с косметикой по прыщам (с дружками по подъездам, но эти за кадром), и милые человеческие зверьки лет восьми от роду (второй класс) с тощими косицами, с серьезными лобиками, с крепко сжатыми зубами, чтоб не рассмеяться; долговязый подросток демонстрирует попавшуюся на крючок щучку; девочка в джинсах на крыльце деревенского дома расчесывает гребешком кудлатую кривоногую дворнягу с изумленной короткой мордой; студенты босиком и в штормовках (при увеличении различимы вымпелы на рукавах — МАДИ) поют неслышимую песню, держа над гитаристом кусок поли-

этилена; гладко прилизанный старший лейтенант пехоты — с чемоданом; опрятная старуха смотрит послушно, руки сложив в передник; улыбается юный демонстрант, сидя верхом на папаше и мусоля уди-уди; школьники в сапогах и нейлоновых куртках окучивают свой сад (и это единственный случай, когда любительское фото запечатлело трудовой порыв). Но каждый раз под увеличителем на периферии кадра можно разыскать множество деталей (это и есть любимая игра лаборанта), закравшихся по недосмотру, даже в центре снимка иногда — неожиданные подробности, каких не застанешь на газетных фото: поющий студент держит лапу на голой коленке соседки, мальчик готовится наставить приятелю рожки, школьники на заднем плане лишь нагло ухмыляются, опершись на лопаты и грабли, а верховой демонстрант снят на фоне портрета, причем голова седока угодила основоположнику в бороду; мужская волосатая рука, поддерживающая голого малыша, неуверенна, позади маячит другая женская, а из-под подставленной загару толстой одутловатой ляжки нахально подглядывает девица лет пятнадцати, застигнутая за чисткой картофеля или грибов, —

и бесконечен этот орнамент, в глазах рябит от нерезко снятых тел, собак, лиц, растений, знамен, фуражек, и, может быть, еще не раз пожалеет самонадеянный юноша, что не оставлял себе каждого снимка по штуке, но сбросил сданные ему судьбой на руки карты; ведь мог бы позже разыграть из всех этих персонажей обширный реалистический пасьянс, сколлажировать, скажем, лейтенанта с девицей-автодорожницей, заставить демонстранта удочерить девочку в джинсах и лох-

матую собаку, осестрить покойного ныне солдата, а в мужа овдовевшей Наташке ли, Верке ли подбросить ничего не подозревающего, бесшабашного до поры до времени босоногого гитариста. Но наш юноша как будто предчувствует, что это — не дело фотографа, его можно простить — юн, тороплив, занят собою, увлечен лишь своею забавой — подсматривать ненароком оброненные детали, будто в них самих по себе есть хоть какой-то замысел и смысл. К тому ж жизнь этих туманных, лишенных всяческого изящества (даже более или менее продуманного расположения в пространстве) фигур — чужда ему, далека от него, непонятна, —

как, впрочем, далека и другая, элегическая, из его собственного семейного альбома. Там из коричневой дымки немислимого прошлого из-под широких полей белых шляп спокойными чистыми глазами смотрят женщины в белых муслиновых платьях; там ослепительные перчатки по локоть, в них — стеки и веера; там никто не смущается под взглядом камеры-циклопа; там холены бороды и усы, а кителя, сюртуки, мундиры и рясы — умны, самоуверенны, безмятежны. Дымчатые поля овальны, нарядны вензеля и виньетки, и даже имена фотографов, начертанные под портретами, оперны и витиеваты. Этих дам и господ никому и в голову не приходит почитать умершими, как, глядя на маски и бюсты древних героев из учебников по истории Рима, никто никогда не думает о смерти, но лишь о подвигах, роскоши и величии. Может быть, поэтому наш юноша, получая в постель эти альбомы вместе с градусником и малиновым вареньем в дни зимней простуды, в детстве всегда полагал своих предков просто вышедшими за

дверь, отступившими за кулисы жизни, однажды севшими на пароход и уплывшими неизвестно куда, но отнюдь не покойными. Но не было и моста между этими двумя жизнями: нынешней, веселой — и сумрачно-коричневатой, старинной, и юноша парит без поддержки посреди исторической пропасти (на его молодые крылья еще плохая надежда), и что он должен испытывать, как ни одиночество, — и он испытывает его.

Как ни странно, отчасти это одиночество провинциала (всякая, самая парижская юность — наша провинция), смутно догадывающегося, что где-то за незнакомыми окнами — иной и блестящий мир, но в большей мере — юношеское воспаленное чувство сиротства, постоянно ноющая пустота в том месте, где каждый помещает в душе иное, но подобное себе существо, и, кто скажет, что юноша наш был готов к любви, тот тоже не будет не прав...

Впрочем, вернемся к теме — теме подглядываний и совпадений (и только беллетристы считают последние — иронией судьбы, судьба же — не иронична, она играет в кости, чуждая как добродушия, так и злокозненности, руководствуясь лишь теорией вероятности). К ней нас заставляет обратиться все тот же групповой гурзуфский снимок, что принесла в лабораторию толстушка заказчица. Попытаемся представить себе фотографа в соломенном сомбреро, в сношенных сандалиях на больших пыльных ступнях загорелых ног; август, набережная, толпа, фоном — фонтан и корпуса санатория, построенного в большом стиле конца тридцатых годов; группа здешних отдыхающих сбилась в кучу, и молодцу

в сомбреро не сразу удастся обуздать это пугливое и бестолковое стадо; но вот наконец мало-мальски пристойный порядок достигнут, отдыхающие построились и пооткрывали рты, уставясь в окошко камеры; птичка выпорхнула, и фотограф отер пот со лба;

теперь — увеличение:

обладай наш юноша чуть большим воображением (впрочем, это лишь синоним любопытства), он задался бы вопросом, с чего бы крашеной перекисью водорода бабенке четвертой справа во втором ряду извлекать свое изображение из душноватой глянцевой прошлогодней мути нерезкого халтурного курортного фото? И зачем тиражировать немолодую Женщину в заливчатски напыленной бесформенной панаме и больших пляжных очках, за которыми вовсе не видно ни глаз ее, ни мельчайших черт лица, и этого вот гражданина в носках и ботинках, хоть и жарыща несусветная, со стальными зубами; в одной руке у него женская пляжная сумка, другая робко водружена — ради цельности композиции, надо полагать, — на толстую шею соседки; она же — игриво напряжена, смотрит в камеру, как на стартовый пистолет, с тем, чтоб через мгновение после спуска затвора кокетливо высвободиться из неловкого объятия? Так и застыли они навеки: стыдливый охотник с ненатуральной стальной улыбкой и пугливая счастливая курочка, лелеющая свой многообещающий испуг, и какова будет судьба этих, новых отпечатков? Пошлет ли она ему их заказным письмом, тайно надеясь если не разрушить провинциальную семью пансионатского ловеласа, то хоть лягнуть его жену, напомнить о себе и о своей уступчивости (привыкли, что для них все легко и

даром); или же, всплакнув (сарафанчик-то хорошо сидел, удачные были и фасон, и рисунок), спрячет в ящик комода к другим дорогим вещам, как-то: старая трудовая книжка, новая пенсионная, оплаченные еще в том году междугородные телефонные счета, книжка сберегательная, книжка платежей за коммунальные услуги, паспорт с просроченным гарантийным талоном на починку швейной машинки и несколько поздравительных открыток со знаменами, цветами и добродушным Дедом Морозом, а также чудом завалившийся старый-престарый карманный календарь с аккуратно отмеченными «днями»? Но нет, это не интересует эгоцентричного юношу, нет места среди его игр чужим сантиментам, подробностям посторонних, смешных лаборанту, немолодых чувств; он, как сеттер, обегает челноком поля негатива, с азартом подмечая, что там есть пожива: случайное сцепление голов с животами, надстройки из чьих-то локтей к чьим-то носам, многорукость одних при полном отсутствии конечностей у других тел, парение лишенных опоры предметов. Десятки очарованных островков для путешественника со вкусом к причудам и странностям мира — они при верной выкадровке и точно угаданной степени увеличения превратятся на отпечатках в страшноватые человеческие гротески, которые будет нелегко разгадать, если искать в них сходства с тем, что многие по привычке считают натурой (но, собственно, когда и заниматься этим рутинным сюрреализмом, как не в двадцать лет).

И вот одна из контролек: слева от основной группы торопливый фотограф успел ухватить часть посторонней фигуры. Девушка (да, по всей видимости, это — девица

в светлой кофте с воротником апаш), проходившая в этот момент мимо, отвернулась от фотокамеры, видна лишь часть скулы, лишь прядь темных взлохмаченных ветром волос, угол светлого лица, но при еще более сильном увеличении — и краешек глаза, и распахнутые ресницы, даже ямочка на смуглой от загара щеке (но, возможно, это уже дефект материала), и краешек чьей-то тельняшки (может быть, это ее спутник).

И здесь — самый важный момент, так что по порядку:

юноша (в скобках отметим, он не обладает тренированной волей, запас внутренней прочности, по видимому, незначителен, из обеспеченной семьи, а значит — притязательный, шляется по кабакам, знает с проститутками, покуривает анашу, никак не подготовлен к трудностям художнического бытия, полон иллюзий, которым предстоит в свой срок разбиться) желает стать фотографом, пока же служит лаборантом в фотомастерской. Не имея ни должных навыков, ни сил для устойчивого вдохновения пуститься в свободное плавание по морю избранного им искусства, он пока пробавляется тем, что изо дня в день, переснимая и увеличивая по заказу чужие снимки, извлекает из них и коллекционирует забавные, на его взгляд, посторонние и случайные подробности (брак фотографов-любителей, не умеющих или не успевающих отбросить и оставить за рамкой кадра непредсказуемые проявления неугомной природы). Однажды немолодая женщина приносит ему в мастерскую групповое курортное фото с просьбой переснять и отпечатать то да се, ее саму и ее друга, избавив таким образом ее воспоминания от не идущих к

делу посторонних морд (и она поступает в этом случае как взыскательный профессионал, впрочем, ее санаторский флирт — лишь наше предположение, но это несущественно). Под снимком — название крымского поселка и дата, и надо ж такому случиться, что именно в этом местечке и в это время побывал и сам лаборант. И вот, развлекаясь привычно, впечатлительный юноша обнаруживает с краю переснятого и увеличенного им изображения фигуру девушки, точнее — намек на фигуру, и загорается этим вполне случайным открытием.

Он — одинок (об этом мы, кажется, уже говорили), естественно, что в свой срок малютки зовут маму, девочки ищут отца, девушки ждут ребенка, женщины мечтают о муже, шарик летит, а юноши — юноши хотят иметь пару. Но отчего изображение, а не живая натура (летние московские улицы полны подходящих девиц)? И отчего именно она, а не любая другая с этого же снимка (там были и хорошенькие), незнакомка, снятая в три четверти, к тому ж безвозвратно потерянная в глуши прошлогоднего гурзуфского лета? Только ли из-за рубашки апаш, из-за ямочки на щеке (повторяем, здесь возможен и технический брак, качество снимка отвратительное, увеличение слишком большое), из-за распущенных волос, из-за длинных ресниц, наконец (и еще неизвестно — были ли и они)?

Предположение, лежащее на поверхности: нашему юноше фигура показалась знакомой. Не то чтобы он узнал ее, нет, разумеется, но что-то в ней напоминало ему явь ли, сон ли (как и всякий мечтатель, лаборант никак не мог довольствоваться наличествующей реальностью, и чем больше этой самой реальности проходило через

его руки, тем ненасытней становилась мечта), неясную какую-нибудь юношескую грезу о слиянии и совершенстве. В его возрасте это случается сплошь и рядом — следишь с волнением за всяким ускользающим силуэтом, тянешься к неуловимому; до неприличия пристально рассматриваешь лица женщин путешествующих, или в больнице, или в трауре, или в церкви; это тоже своего рода увеличение — лишённые рамки повседневности, женщины превращаются в эскиз, в голую, очищенную от всего житейского возможность, —

так что ж говорить о нашем юноше: случайный снимок, летучий след на светочувствительной фотоземлюльсии, эфемерный отпечаток — это ли не пища для фантазера? Так или иначе, но лаборант на той же неделе берет отпуск в лаборатории, выклянчивает у папаши денег, рвется во Внуково и захватывает первое попавшееся место на рейс Москва — Симферополь, предварительно позубоскалив с четверть часа с диспетчершей аэропорта. И через недолгое время он уже совершает посадку на земле Крыма, по-щенячьи принюхивается к блаженным запахам летней южной земли, ветерка с гор и перегретой дневной пыли —

и устремляется на побережье.

Впрочем, кроме эротического объяснения импульсов нашего лаборанта можно привести и иное, социально-психологическое, что ли, толка, проиллюстрировав его, однако, психоаналитически, а именно — навязчиво повторяющимся сном юноши, в коем звучал, быть может, голос рода, укор крови, стремление к благородной симметрии (подсознательное) как единственному способу заполнить ноющую пустоту и утишить тоску по

подобному:

будто входит он об руку с нею в московскую барскую квартиру (в какой никогда не бывал) с портретами в рамах, семейной бронзой, запахом старых книг, увяданья, древней мебели, выдохшихся неведомых духов. Его покойная бабушка (она умерла в коммуналке, когда он учился в девятом классе, снисходительно относилась к любым его проказам, смеша уличных девок обращением «барышня») — бабушка в гостиной раскладывает на овальном столике пасьянс; он подходит к ней, она улыбается, хочет поцеловать его в лоб. «Я не один,— говорит он. — Я хочу представить тебе...» «Не один, разве?» — все улыбается она и треплет его по волосам; и верно —

нет никого рядом с ним, лишь ладонь его, сжимавшая только что ее пальцы, еще влажна...

Но было бы натяжкой с нашей стороны утверждать, что наш юноша, достигнув Гурзуфа, только и делал, что, томясь и тоскуя, искал свой идеал. Ничуть не бывало. Тут же смешавшись с толпою таких же юнцов, прибывших из всяких больших городов страны, со свежей порослью на нахальных лицах, в лохматых шортах, созданных при помощи ножниц из потертых джинсов, с крабьими лапками на незаматеревшей груди, в патлах, нашейных платках, кричащих майках, он предался незамедлительно прослушиванию Челентано на террасе коктейль-холла, фланирование по набережной в обнимку с тощеватой девицей, тоже босой и патлатой и напоминавшей ему Джейн Фонда, после закрытия бара и наступления темноты валялся на лежаке на пляже под дребезжание гитар, смех, вздохи и стоны, вдыхал терп-

кий запах пахнущих солнцем плеч и соленых сосков и губ, ночевал под открытым небом, утром подтягивался к «тычку» с кислым сухим разливным дешевым вином, лопотал на амерусском полублатном эсперанто, воровал пищу в столовых (скорее по традиции, чем из нужды или жадности), короче, принимал деятельное участие в общем балдеже, хиппеже и тусовке. При этом он носил-таки в нагрудном кармане размытый неясный снимок незнакомки в три четверти, но вовсе не ждал ее встретить, не озирался на улицах, даже сакраментальное место съемки поленился разыскать, хоть и задумывался иногда, наматывая на палец прядь волос случайной подружки, взглядом упершись в морскую даль, где видел, скажем, белеющий одинокий парус.

Однажды, поспешая по своим неотложным делам (на приморском юге у любого шалопаю полным-полно неотложных дел), он наткнулся на толпу людей, бестолково топчущуюся возле фонтана. Фотограф в сомбреро, с кавказскими усиками и сильным украинским акцентом дирижировал ею, стоя за своею треногой; наконец, некое подобие канонической групповой композиции было достигнуто, фотограф припал к окуляру, — и наш юноша узнал всю картину. Конечно, вот и фон — корпуса санатория Приморье, вот и группа отдыхающих, запечатлевающих на память перед экскурсионной поездкой на прогулочном катере в Никитский ботанический сад; вон и немолодая бабенка в пляжных очках и панаме, в сарафане красивого ситца, рядом — гражданин в салатовой майке (темное потное пятно меж грудями), одной рукой придерживает подругу, в другой — женская сумка с выглядывающей из нее металлической

дыхательной трубкой для подводного плавания, —

птичка вылетела, фотограф отер пот, наш юноша отчетливо понял, что все это уже было. Конечно, конечно, он проходил здесь прошлым летом с приятелем (на том была еще такая полосатая маечка, похожая на тельняшку); они обогнули группы отдыхающих слева, юноша повернулся к спутнику и, должно быть, что-то сострил. На нем была легкая рубашка апаш, а волосы — еще длиннее, чем сейчас... Что ж, малютка находит материнскую грудь, девушки рожают, женщины подчас выходят замуж; шарик голубой, юноши ищут пару; ты же нашел самого себя. Для начала неплохо, будь здоров, мой милый.

6. НОВЕЖСКИЙ ЛЕС. СНИМКИ РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Длинные страны отличаются от широких (это видно по карте): у первых зачастую узкий верх и довольно широкий низ, вторые же вольно раскинулись с запада на восток, а сверху вниз, напротив, скорее, приплюснуты. Попав в это узкое протестантское королевство, первым делом я удивился, что молятся здесь столь же редко, как и у меня на родине (хозяйку свою во все время пребывания я так ни разу и не застал за молитвою), но много говорят о честности (впрочем, в моем атеистическом широком государстве тоже говорят об этом), когда, конечно, не говорят о кронах (размер национальных купюр обратно пропорционален занимаемой нацией площади), —

впрочем, о наших мелких деньгах нам ведь тоже все горячее приходится печься.

Вот еще одна разница: фрукты дешевы, их много, жизнь же — дорога; у нас наоборот, и хозяйка по утрам вынимает из почтового ящика рекламы и проспекты товаров и услуг, издаваемые и распространяемые людьми, замышляющими, как она уверена, что-то против ее благосостояния и небольшого капитала, несет добычу на вытянутой руке, зажав двумя пальцами, как какую-нибудь рептилию, прямым, не разворачивая, к помойному ведру, причем поспешно (что, если у этого существа оторвется хвост и оно, забившись под мебель, останется жить в апартаменте)...

В первую неделю ты рассеян. Ибо, как сказал один твой предшественник, молодой турист-фотограф, ровно за два века до тебя и за полвека до изобретения фотографии двумя легкомысленными французами, «мысль, что я уже вне отечества, производила в душе моей удивительное действие». Ты в северном углу Европы, ночь паромом до Киля или Копенгагена, шесть часов поездом от Стокгольма. Сюда не пролегают торговые пути и не слишком исхожены туристские тропы, и хозяин маленькой табачной лавочки искренне удивлен: он в первый раз в жизни видит живого русского.

Здесь когда-то жили викинги, потом Лютер (знал ли он это имя — Норвегия) нашел здесь, быть может, наиболее последовательных своих приверженцев; вернувшиеся с континента Ибсен и Мунк в начале века попрекали только что выбившихся из-под шведов соотечественников провинциальностью и пуританством и отчасти добились своего: после второй мировой войны и сексу-

альной революции жители длинной страны почувствовали себя в перевернувшемся мире не в своей тарелке. Похоже, фиорды глубоко проникли в их психику, как и внутрь их побережья: бог умер, тролли разбежались, никто уж не знал, свободен он и раскрепощен или покорен и целомудрен, король объявил социализм, а цены на мировом нефтяном рынке, так долго взвинчиваемые арабами, упали, и это мигом похоронило на дне моря солидный куш национального дохода. Норвежцы неожиданно оказались жителями не только самой узкой, но и самой дорогой страны Европы, все чаще они предпочитали проводить отпуск в Греции или Югославии, мечтая о пенсии и переселении в Португалию, где сто крон (завтрак с бокалом пива) станут-таки ста долларами, а они после трудов праведных, подобно их предкам — свободным мореплавателям, не будут ежедневно подсчитывать, сколько они должны своему банку.

Нищий путешествующий россиянин в известном смысле свободнее посетителя западного супермаркета (это тем более так, если свободу понимать не как протестантскую ответственность, но по-русски как бесшабашность). Конечно, на улице или в ресторане никто тебя здесь не примется поучать, где тебе сидеть, стоять, ходить и носить ли бороду, и русский путешественник не сразу привыкает к незнакомому чувству автономности личности, смутно подозревая, что на этой узкой земле права человека—не совсем пустой звук, а правосудие крепко стоит на страже интересов длинного гражданина, — но на что, собственно, нам правосудие? У нас есть православие, и россиянин с пеленок обучился

такому инстинктивному самосохранению, которое и не снилось одурманенному демократией европейцу. Но вот что обидно: русский путешественник быстро понимает, что, по всей видимости, как раз это-то качество ему здесь и не пригодится, но продолжает смотреть на аборигенов с долей превосходства (которое призвано разогнать в глубине души смутное чувство неудовлетворенности и облачко раздражения), с каким может смотреть коренной австралиец на жителя, скажем, центра Сиднея, не умеющего метать бумеранг и вернуться от крокодила, —

увы, увы, эти навыки здесь никто не сможет оценить по достоинству. Он многое понимает, но продолжает смотреть на длинных жителей как ветеран цинизма и изворотливости в отпуску на школьницу-отличницу, а те ему платят схожей монетой, давая понять подчас, что отчетливо ощущают его криминальное прошлое. Отбросив иногда свое добротное воспитание, кое-кто даже (с вежливой улыбкой) расскажет о, например, необычайном трудолюбии жителей длинной страны, расскажет многозначительно, но ты-то, исполненный национального опыта, лишь ухмыляешься при едкой, но поверхностной мысли, что и на твоей родине много говорят о труде, но не те, кто работает (эти делают свое дело молча), а обманщики и демагоги.

В первые дни ты бестолково щелкаешь затвором своей камеры направо и налево, глазеешь на витрины и жадно вдыхаешь столь непривычный твоим широким легким европейский воздух, боишься заблудиться и ругаешь местные власти за непомерную плату в общест-

венном транспорте. К концу первой недели это проходит.

Ты начинаешь экономить пленку. Ты обретаешь утраченную было избирательность кадра. Ты вглядываешься в усталые лица на улицах в конце дня, цвет которых не свидетельствует ни о хорошем питании, ни об активном досуге на свежем воздухе (чего-чего, а свежего воздуха здесь полно). Эти в массе своей дешево и стандартно одетые люди, уныло глядящие в свои толстые газеты и простенькие комиксы, вовсе не склонны улыбаться друг другу (да, нельзя изучать чужую жизнь на парадных раутах), и ты стираешь с лица произвольно-оживленное идиотическое выражение путешественника, спускаясь в тоннель (так зовут здесь четыре перегона подземки); пока едешь до стортинга (место твоих ежедневных стартов), ты с грустью размышляешь о том, что, видно, нигде не найти земного рая, что жизнь человеческая в каждом уголке этого маленького мира исполнена забот и тягот (лишь путешественник может день ото дня тщательно предаваться празднику жизни), а повседневность одинакова всюду, и нехитрую эту истину ты мог почерпнуть бы еще лет двадцать назад, не дожидаясь выездной визы, на уроках английского в школе, если б был прилежный ученик, когда тебя заставляли учить наизусть песенку, герой которой — фотограф вроде тебя — отправился из Лондона, что ли, в Шотландию, будучи недоволен, верно, положением дел у него дома. И он убедился, что

the ground
was as hard
that the yard

was as long
that a song
was as merry
that a cherry
was as red,

как и у него на родине (у нас, впрочем, всего краснее знамена), и он stood in his shoes and he wondered, да-да, он весьма wondered. Akkurat, как говорят норвежцы.

Сначала ты снимаешь виды.

Но скоро невозможная красота норвежских приморских городков (белые домики со свежееумытыми мордочками будто держатся за подол старой темно-бордовой узкой деревянной кирхи), фантастическая прелесть Осло-фиорда и чистота снега в прибрежном лесу — все начинает казаться чересчур стерильным, а безупречный порядок светлых экономных интерьеров в гостеприимных домах — и вовсе фригидным, и ты с двойственным чувством слушаешь пояснения хозяина, будучи выведен им на веранду, на морозный воздух. Там, внизу, в заливе, — маленькая каменная крепость на крохотном островке. Крепость старенькая, к сороковому году нашего столетия она уж век как бездействовала, но вот появились суда немецкой оккупационной армады; кровь викингов взыграла в жилах маленького гарнизона, содержавшегося в целях поддержания традиции; извлечены были заряды, порох оказался сухим, фашисты и опомниться не успели, как старинные пушки дали по ним залп, и головной корабль, гордость флотилии, схватившись за простреленный бок, пошел ко дну. Воды

фиорда поглотили его — это было славным началом бесславной оккупации.

Твою русскую душу смущает этот рассказ — так много в нем гордости маленького народа своим маленьким подвигом. Но гордость эта — не казенная. У нас в России куда большими глупостями, жертвами и победами так шумно и помпезно гордится государство, что отдельному человеку на долю не остается ничего, кроме скепсиса, и в этот момент я завидовал норвежцу. Зато, думал я, зато (он что-то еще рассказывал, очаровательно улыбаясь), зато (мы перебрались в гостиную), зато (он налил мне виски со льдом), зато (в гостиной было невыносимо красиво и много дам, была зажжена сотня свечей, висели хорошие картины и венецианская люстра, приглашенные были приятно оживлены после долгого и вкуснейшего обеда, а теперь перешли к кофе и лонг-дринку), зато у нас, —

но я не знал, что у нас «зато», хотя, клянусь всеми божественными персонажами Малой и Большой Эдд, очень хотел бы знать. В подобных случаях такой глубокой растерянности русский путешественник зачастую перепивает. И вот его рука тянется к талиям дам, музыка гремит, всем вокруг страшно весело, а ты через некоторое время находишь себя распростертым на нежнейшей постели (подозревая, что вместо пуха в матрас, налита вода и что это не только твое субъективное впечатление, но — техническая реальность) в отведенной тебе гостевой комнате; ты — в мягкой приятной пижаме, рядом — твой бокал, который, по-видимому, ты до последней минуты сжимал в руке (чистое виски, определяешь ты, обнюхав его с омерзением), и что-то ме-

шает тебе, стягивая твою щеку. С трудом ты отлепляешь прилепившуюся к коже клейкую бумажку — это алое сердечко, обведенное золотой каемкой с нарисованным на нем золотым же Амуром, целящимся золотой стрелой, прямо тебе в глаза... Еще до завтрака ты, обманув бдительность хозяев, поспешно сбегаешь на прогулку и бродишь по окрестному лесу со смутными чувствами, как возвратившийся из странствий Пер Гюнт. «Сколько лет путешествие было приятнейшей мечтой моего воображения? Не в восторге ли сказал я себе: наконец ты поедешь? Не считал ли дней и часов? Но когда пришел желанный день, я стал грустить, вообразив в первый раз живо, что мне надлежало расстаться со всем, что, так сказать, входило в состав нравственного бытия моего?» — вот как описывал сходное состояние русский человек Карамзин.

Что такого сладкого, что такого горького, такого незаменимого для «нравственного бытия» и естественного самочувствия оставляем мы на родине, вторгаясь в Европу? Очереди за всем необходимым, повседневное хамство, грязь на вокзалах (и именно заплеванной выборгский вокзал, засиженная мухами бутылка сгнившего лимонада — единственный товар в тамошнем буфете, — приведет тебя, свинью, в умиление при первом же шаге на возвратном пути по родной земле) и хамовато-крикливые лозунги? Вот тебе чужие сосны в свежайшем норвежском снегу, вот скандинавские горы, воспетые Григом и скальдами, вот быстрый незамерзающий ручей в зимнем лесу, говорящий на чужом языке, вон верхушка церкви, наконец, где молятся тому же

богу, что и твои предки, хоть и на иной манер. Вот тебе Европа.

Но нет, с лишней силой ощущаешь ты принадлежность свою другим широким пространствам, но каким: в Африке и Австралии ты не бывал, а в Азии ты — тоже чужой? Тут впору не Ибсена с Гамсуном вспоминать, а пушкинскую речь Достоевского, но — так или иначе — ты окончательно понимаешь, что начисто лишен глуповатой европейской гордости, с какой распевает по телеканалу Скай, или телеканалу Би-би-си, или в каждом порядочном кабаке какая-нибудь прыщеватая группа в блестящем трико на ляжках непременно песенку с одинаковым всегда, как программа «Время», содержанием: милая, встретимся в Стокгольме, я увезу тебя в Хельсинки-таун, жди меня, дорогая, в Риме, мы покатым в Париж на уик-энд, нежен песок на Канарах, а в Лиссабоне я знаю один уютный кабачок... У тебя нет, оказывается, своего континента.

Потом ты запечатлеваешь другую часть страны.

Юная китаянка, гардеробщица в одном из многочисленных Чайна-таунов, держит на коленях раскрытую книжку с картинками. Она не понимает по-английски твоего произношения, но решительно отвергает предположение, что она родом из Пекина: Гонг-Конг. Ты тоже ее не понимаешь — китайские и русские модуляции мало похожи. На коленях она держит учебник норвежского языка. Иммиграция в страну практически прекращена, но у многих приезжающих здесь есть родственники, и натурализоваться в Норвегии все же проще, чем, скажем, провинциалу прописаться в Москве.

В индусском магазине тебе предлагают пряности, и ты, не умея не купить ничего, если тебя столь вежливо к тому склоняют, приобретаешь пакет каких-то засушенных цветов. Индус поясняет, помогая себе жестами, что этот гербарий следует жевать after a meal. В пакистанском бистро ты и вовсе чувствуешь себя как дома — столы грязные, как в московской пельменной, в туалете не горит лампочка и не спускается вода; полупьяная немолодая женщина что-то шепчет тебе на ухо, ты отвечаешь на своем русском английском, что ее не понимаешь, — она с хохотом отходит. Здесь же, за стеной этого обшарпанного здания в иммигрантском районе в магазине *Контакт*, молодой югослав торгует искусственными пенисами; два-три пристойно одетых мужчины листают у стенда замусоленные журналы — они ничего не покупают, и ты тоже решаешь не поддерживать югославскую коммерцию (в конце концов, Югославия — не член СЭВ).

В кафе для безработных стоит запах марихуаны и давно не мытых тел и не меняемой одежды (в бесплатных муниципальных квартирах редко бывает ванная), но запрещена продажа пива. Здесь, похоже, все знают друг друга, как в русской пивной, и приходят подкрепиться практически бесплатным обедом из смеси недоваренной картошки, шампиньонов и свежей капусты, запивая все жидким кофе. К тебе подходит старик со щетиной на синих щеках, с искореженными ногтями (в полиэтиленовом пакете звякают пустые бутылки). Без перевода ты понимаешь его вопрос: а ты воевал?

Ты зачехляешь камеру. Изнанка буржуазного города нравится тебе еще меньше изнанки города советско-

го. Ты испытываешь смутную тоску — по дому, проклятая вместе с тем свою подверженность ностальгии. Тебе начинает мерещиться, что, сложись твоя судьба иначе, и ты мог бы оказаться здесь же, обменивая талоны на еду в окрестных лавчонках на дешевое вино. Ты с удивлением вглядываешься в черные и желтые, красные и коричневые лица — похоже, они не устают радоваться, что избавились от своих южных мазерлендов, правдами и неправдами проникнув в эту северную и холодную узкую страну. Впрочем, они и Гамсуна не читают: они торгуют. Быть может, торговля и ностальгия вещи несочетающиеся, может быть.

Но вот важный урок: в течение многих лет, понимаешь ты теперь, ты был зажат, как ребенок отцовскими коленками, двумя мифами о Западе: мифом журнала «Vog» и официальным отечественным об ужасах капитализма. И с тем, и с другим теперь тебе жаль расставаться, ибо действительность — неромантична: оба мифа — два берега, между которыми течет реальность. Бинго для одиноких стариков, листовки общества «Бабушки против ядерной войны», японские машины по огромным ценам в витрине, тихое и чинное театральное кафе с портретами бывших завсегдаев, которые успели прославиться, разрушающиеся дома, отданные муниципалитетом бездомным с размалеванными стенами и надписью на воротах «Fuck off», игрушечные мини-банки привлекающие детским дизайном и выдающие купюры после того, как пожуют и выплюнут (могут и проглотить, если кредит иссяк) магнитную карточку клиента, ночные клубы для тех, кто побогаче, такие же клубы для тех, кто победнее, дворец дряхлого

короля, наконец, в парке которого прогуливают собак, и образцовое здание парламента, уютная биржа, с десяток театров, бесконечные извещения о снижении цен в витринах, —

и среди этого, пугливо озираясь туда и сюда, течет жизнь среднего класса, то есть собственно жизнь, класса, возведшего свои предрассудки до законов бытия, в меру забитого, в меру сумасбродного, в меру параноидального и злобного, в меру сытого и добродушного. Средний класс, надо думать, одинаков всюду. Его заботы схожи и там, и здесь: счета за квартиру, починка автомобиля, платная стоянка, отпуск с детьми, повышение по службе и надбавки к жалованью, «Akva vita» по пятницам (норвежцы возят, кажется, свою национальную водку, перед тем как выпить, в Австралию и обратно, причем готовы платить за нее двойную цену с тем, чтобы утолить ностальгию по морскому прошлому предков), новая электронная безделушка — показывать соседям, круг «друзей» — итог своего рода биржевой игры, невинное заигрывание с чужими мужьями на раутах и вполне простодушные адюльтеры во время отпуска, сбережения, мечта о даче у моря, металлическая музыка детей-тинэйджеров и равнодушие последних к занятиям, подстригание газона или коллекционирование какого-нибудь утиля, газетные новости о футбольном матче, разговоры о рыбалке и лодочных моторах, телевизионные сериалы, регулярное бросание курить и обещания жене заняться бегом, ее паническая боязнь старости и старость, сексуальные свободы в школе, диета для похудения от понедельника до четверга, сновидное, которое не нужно,— и все при полной за-

путанности отношений между полами. Маскулинность и феминность, брутальность и независимость, фригидность и невроз, мена-пауза, равноправие, секс, эксплуатация, парность, психоаналитики, собственная жизнь и интересы семьи — все принадлежит каждому, не принадлежа никому. Границы между полами условны, карьера поровну, образование — бесплатное, в женщинах ценится вечная механическая оживленность, в мужчинах такт, широта взглядов и умение приготовить завтрак, —

и если социализм в королевстве все-таки в большой мере умозритель, то в семьях он — повседневная реальность. Поэтому в моде жены-славянки и мулатки-любовницы (их можно изредка бить), а фрустрация скандинавок со времен Гедды Габлер, быть может, никогда не была так высока: они обвиняют мужей в алкоголизме, иностранок — в проституции, уезжают в отпуск куда-нибудь в Занзибар, набив багаж феминистскими романами и презервативами... Скучно в этом мире, господа, как сказал однажды русский поэт, —

и заслонять от тебя этот мир в течение стольких лет было чистой воды провокацией власть имущих в твоём отечестве, — видно, они боялись вспышки патриотизма среди тех, кто хоть немного пошатался с фотоаппаратом по границам.

Что ж, редкие счастливыцы везде счастливы, думаешь ты философски, останавливаясь в полдвенадцатого ночи у горящей на тротуаре гильзы, поднимая голову, читая вывеску «Club Remember», вход — тридцать крон, сидя над бокалом пива средней крепости среди девочек и мальчиков под оглушительную музыку, не-

счастливые же — везде несчастны (и это мысли советского буддиста в чистом виде); и нет места на свете, где реальное бытие не отслаивалось бы от идеала (хоть потратить на психоаналитика годовую зарплату). Конечно, глупо подозревать эту норвежскую молодежь в стремлении лишь потреблять, чтобы потреблять (для этого им явно недостает варварской дикости и страсти), скорее всего, потребление здесь — форма борьбы и преодоления, знак следования протестантской традиции, награда за труд и ответственность, и угодно их аскетичному богу; но разве такая цель и такая жизнь достойны свободного человека, думает русский буддист, одурманенный третьим бокалом, глядя, как перед ним вот уж минут десять кряду пляшет белокурая Иродиада, изредка взглядывая из-под лохматых волос, виляя бедрами и довольно плоским задом.

Местным социальным кодом ты не владеешь, не знаешь — проститутка ли перед тобою, продавщица ли частной лавочки или машинистка из какого-нибудь государственного офиса, но воображаешь, что алчет она твоей головы. Это, разумеется, только пивные пары. Ты подозреваешь, что такой вот танец-марафон в одиночку — вполне естественное проявление личной независимости для местной молодежи; и что за любовь надо платить. Но отчего все-таки прямо напротив тебя? И зачем подглядывать сквозь свесившиеся патлы блестящим глазком? И почему надо так крутить бедрами прямо перед твоим столиком, хоть места — предостаточно? Брать или не брать четвертый бокал, соображает буддист, считая в уме свои карманные деньги, но при этом небрежно, как ему представляется, улыбаясь.

Встретимся в Стокгольме, дорогая, я увезу тебя в Хельсинки-таун, хорош песок на Канарах, в Лиссабоне я знаю отличный кабачок, —

ты решаешь, что еще от тридцати крон (стоимость пачки сигарет) ты можешь себе позволить избавиться. Они тут же совершают фазовый переход из звонкого состояния в горчаще-пенное, сам же философ от созерцательного движется с опасно жизнеутверждающему. Последними глотками уничтожается пиво, последним усилием воли стряхивается наваждение, быстрыми шагами идет к выходу. Но — что это! — плясунья, подхватив свою кожаную курточку и свой пластиковый пакет (ну точно как девочка в какой-нибудь «Метелице»), устремляется за тобой. Здравствуй, о дочь древних викингов, ты первая, кто встретился на путях познания европейской нирваны русским путешествующим фотографом, быть тебе проводницей по здешним кругам, не помочь ли вам, произносишь ты на своем варварском языке, когда она притормаживает перед зеркалом. Но она одевается молча и самостоятельно, лишь взглянув на тебя мельком. Как поживаешь, интересуешься ты. Бэби, говорит она, подхватывая пакет и перекатывая жвачку от щеки к щеке, let's go and dream. Ну и забавный же у них способ звать в постель, думаешь ты, впопыхах упуская из вида, что лишь русский глагол *сниться* так однозначно связан с этим местом. Let's go and dream about ice-cream, уточняет она и смеется, у нее отличные белые зубы и заманчивая пасть. Ты тоже улыбаешься, чувствуя себя идиотом. Садясь в такси на площади, она прощально машет тебе рукой.

Себе в утешение, идя по улице, ты бормочешь песенку времен своей юности, от которой выжил лишь припев: Norwegian wood. Норвежский лес — это темный лес, думаешь ты, let's go and dream, маленькая милая страна, let's go and dream, живой ручей в заснеженном лесу, let's go and dream, Сольвейг из дискотеки, Сольвейг, которая уж никогда не прибежит ко мне на лыжах, улыбнувшись весне, let's go... Akkurat.

7. ОБРАЗ ЖИЗНИ, МОМЕНТАЛЬНЫЙ СНИМОК

Ряд понятных затруднений, —
ясность изображения — небесспорное достоинство, простота хуже воровства, условны законы геометрической оптики, выбор кадра не поддается заведомому расчету, содержание — дань ленивому зрителю, правила композиции — лишь прием обучения, результат не соответствует замыслу, задача невыполнима, —

как в самом деле одними прямыми нарисовать местность и храм, как передать гласными и согласными музыкальную фразу и как остановить на пленке образ жизни, утекающий и скользкий.

Когда недостает средств, берут в долг — у воображения (есть ли оно у твоей камеры), но и оно — мелочный кредитор, строгий топограф, перед ним нужно отчитываться, ему должно от чего-то отталкиваться, привязаться к какой-нибудь точке во времени и в пространстве, что ж, начало координат есть — середина жизни (на время ты уже не так щедр, но до пространства по-прежнему жаден), отсюда видно и туда и сюда. Там, за призрачной датой твоего появления на свет, начинается

история, сперва генеалогия, похожая на ветвистую молнию, потом самозванство, семь дней творения, тьма над бездною и геология; здесь тебя завтра не будет, второе пришествие, коммунизм, апокалипсис, космос, черная дыра, —

и ты со своею треногой, с глупым приспособлением для фиксации на светочувствительной эмульсии своих случайных впечатлений (и неспособностью к философии) — лишь мгновение, в шутку размазанное на столько-то десятилетий и застрявшее между двумя географиями.

Итак, межсезонье; то ли ранняя оттепель, то ли поздние заморозки, нечто среднее между весной и осенью, между осенью и весной, так или иначе — подошвы скользят, подталый пирог на сырых деревянных перилах (примерзлые сухие листья вместо начинки), беспородный парк в нежданном снегу, и деревья голы, запущена старая усадьба, барский дом каменен, из окна флигеля вид на реку, на белую обшарпанную ротонду, чувство, что ты слишком легко одет и ушедшей молодости (как при любой нечаянной оккупации), сквозняки и печаль по дому, —

вот вам и пейзаж, сквозь него проступают черты женщины (ибо жизнь — предмет, несомненно, женского пола), женщины как сезон, как бессезонье, как ландшафт, как горы или как город, как пустые дубы на склонах весеннего армянского ущелья, как державный камень, мокнущий в воде фиорда на котором встала одна из грозных северных столиц, женщины как женщины.

Она — ветрена и болтлива и тебе не принадлежит. Твое чувство к ней летуче — как что? — как пыльца, как

песчаный узор в дюнах, как сентябрьская паутина, —
летуче — как сентябрьская паутина:

это и желание ею обладать, и предчувствие разочарования, любование женским кокетством и боязнь отметить слишком явные несовершенства, это — флирт, это игра, это — случайное очарование. Коли так, придется поместить ее в самом центре, поселить в самом Центре, наречь ей имя как церкви, позаимствовав у топонимии Замоскворечья, посвятить ее Кадашам или Яузе, Полянке или Ордынке, Первому Монетчикову, Климентовскому, имя-междометие, имя-цезура, дать ей голос, нет, голос не надо, ей нельзя двигаться, нельзя дышать, слишком велика экспозиция в полутьме, лучше прописать ее в полуобставленной комнате с видом на купол оставленного под складское помещение храма без креста (и некуда сесть вороне), подмешать ей в жилы какой-нибудь мусульманской крови, кавказской или татарской, наделить глазами с неуловимым выражением буддистского божка или китайского пикинеза, а там и окрестить, фамилию подобрать старинную, русскую, семинарскую и напоить до полпьяна. Наверное, так могла бы выглядеть твоя вдова. Теперь — заряжай пленку, вместо соития ограничься теплообменом (для чего достаточно взгляда из-под темных коротких ресниц и бледной, изображающей усталость и отражающей замедленный ток крови, улыбки); она, по-видимому, чья-то любовница, может быть — чужая жена, грезит родить щекастого малыша тому, кого подберет для этой цели (естественное стремление здоровых клеток к делению), все это, безусловно, скучновато и довольно досадно, но останется (и это уж забота фотографа) за кра-

ем рамки, не придвигайся к ней слишком близко, обладание не дозволено, возможно только касание, нечаянное пожатие пальцев, стеклянное соединение рюмок, теперь замри, ибо —

чересчур чувствительна пленка, ни шороха, ни вздоха, ни опускания глаз, вот и щелчок, моргнули лепестки объектива, произошло невероятное, то, что было неуловимо, кажется, остается жить.

Ностальгическое ремесло, химерическое существование, в чем назначение этакой жизни — только в ее образе (и в утилитарном смысле эта жизнь совершенно бесцельна); есть, конечно, и другая гипотеза, по которой смысл бытия — в его длительности, в протяженности здоровья и заботах о продолжении рода, но она представляется достаточно плоской, раз полагает сущность предмета в его же физическом свойстве, к тому ж — столь откровенно относительном; и здесь было бы к месту разобрать по квадратикам, разъять по молекулам образ твоей жизни, но самому тебе это не под силу, получилась бы невнятица: перемена мест, надежды на счастливую встречу, простые радости вполне метеорологического свойства, гул ресторанного зала, прихлебывание коньяка, болтовня, скука в поездах и дрема в самолетном кресле, блуждания по чужим городам и по незнакомым горам, вольная домашняя суета и покойное смирение выполнения урока, и еще что-то, чему ты не знаешь названия, похожего на ожидание свидания и страх небытия, на предутреннее сердцебиение и сладкую горечь обиды, на трепет перед тайной, наконец, и на заботу нечаянно ее не отгадать, —

отгадать, как вот эту женщину между Востоком и

Западом, черты которой просвечивают в задуманной композиции. А ведь это не представляет труда. Результат будет схож с поездкой в ненужные гости, с утренним походом за кефиром: черты ее лица тут же расплывутся, пикинез зевнет и прикроет глаза, свернется мусульманская кровь, опошлится славянское имя, таинственный божок предстанет дешевой безделушкой,— ее пальцы холодны и влажны (гипотония, должно быть), ноги некрасивы (чересчур толсты), зад низковат, волосы негусты, не мыта на кухне посуда, стоптаны домашние тапочки, пустовата комната, и шерстит чужое одеяло; нет, она найдена тобой для другого, призвана для иного — помочь нарушить прерывистость бытия, забыть о разъятости мира, заставить попасть в сосуд подряд хоть несколько капель, замедлить бег песчинок, остановить хоть ненадолго неотвратимое таянье льдинки в теплой воде и почувствовать на лице озноб и жар от тайного дыхания (только взгляд на икону невзначай при беглом свете свеч, только пригрезившийся во сне самый невозможный кадр заставляет подчас так биться сердце),—

это дыхание темного, дальнего, вечного...

Фотографирование — занятие меланхолическое, оно обращено на развалины настоящего, элегически влюблено в руины того, что совсем недавно обещало стать будущим (загляните-ка в свой фотоальбом); вот и этот снимок, сколь ты ни тужься, запечатлеет лишь нечто между расписанием усвоенных уроков и распорядком грядущих похорон. Пожалуй, на этом месте должен бы стоять дом. Не казенная комната (хоть и с ковром) в давным-давно национализированной усадьбе посреди

беспородного парка, что некогда построил на краю нынешней Москвы Воронихин (тот самый, кто придумал Казанский собор, тоже ведь оказавшийся не вечным), не старинная столица, что держится на плаву всеми своими мостами, не коттедж с камином в далеких горах (есть биде, но нет воды), не стокгольмский шератон, в коридорах которого не услышишь ничьих шагов, не купе поезда, из окна которого ночью ты вдруг увидишь светящийся и плывущий, растущий и парящий Кельнский собор, и не хороший автомобиль, наконец, в котором по бельгийскому бану ты приедешь в город Брюгге, о каналах которого патриоты думают, что они после очистки не пахнут, и воздух которого ты уж никогда не забудешь, —

дом, по которому скучают в пору нежданно повалившего снега, худой одежки и потерянной молодости, дом, в котором лелеют некий домашний союз; если он счастлив, то это — мысли во сне о другом, соединение как дыхание, лесть и ирония пополам, набор ритуалов, компромисс между детством и зрелостью (никогда не понять, кто кому дочь или сын, мать, отец, любовник или подруга), немучительная расплывчатость признаний, гербарий благих обещаний, возможность поймать вылетевшее слово, интимные амулеты, общая любовная легенда, кое-как утаенные некогда грехи и возможность болеть по уговору — сегодня ты, завтра я. Но ты выбрал другое, Фотограф, вот твой образ жизни: глотай сиропную хину сиротства, пей пронзительный неуют знакомых издавна улиц; этот квадратный километр пронизан токами незаживающего детства, как и вся твоя жизнь пряна возбуждающим неустройством попо-

лам с обманной устроенной прочностью; здесь, в середине, рвутся многие связи, на глазах умирают телефонные номера, новые не вырастают, и ящерица бегаёт без хвоста; где родной угол, в котором ты всегда был чужаком; а ты давно не равен сам себе — рябь времени, наложение будущего и прошедшего, здесь ты уже стар, там ты ещё юн. Середина жизни, поэтому ты и пришёл к этой женщине, чьё лицо просвечивает сквозь изображение, куда ни наведи камеру; поэтому ты и поселил её здесь, и она теперь — как сувенирный колокольчик из забытой заграничной поездки, как отзвук синонимической элегической пушкинской рифмы, как горесть милосердия, как награда за грех, покаяние и обет.

Итак, промежуточность между двумя географиями: ежедневный утренний ритуал ещё не тяготит, смена времен года по-прежнему волнует; шарик всё ещё бежит по кругу, пущенный уверенной рукой, ещё рябят фишки на зеленом разграфленном сукне, ещё не вытолкнута в щель твоя неразменная банкнота,—

и новое случайное чувство представляется неизбежным. Замоскворечье — место свидания, — здесь некогда проходила дорога из Кремля в Орду (потом её обставили византийскими храмами); время столкновения осени и весны, но — оплодотворение невозможно, разрешено лишь касание, и набухает капля под носом простуженного крана; острое иглы воткнуто между двумя великими континентами; равновесие неустойчиво, кратка тишина между проворным скоком часов, между двумя ударами хрупкой мышцы, нагнетающей кровь в эту вот жилку на виске; и слеза готова оборваться и покатиться по щеке.

8. УДОБНАЯ ТОЧКА

1.

Жена находила, что в *этом* есть *тема* — тема пересечения границы табуированного пространства (убей меня Бог, чтоб я представлял себе, что это такое, когда-то жена заставляла читать Фрэзера, но за давностью лет забыл к чему это имеет отношение), ей виднее, она филолог-фольклорист, я же в юности закончил автодорожный. К тому ж, жена умнее меня тем женским умом, каким умны гуманитарные дамы, когда их природные способности и приобретенное образование вступают в реакцию с экзальтированной интуитивностью. Жена настаивала, что я *все это* должен описать.

Я киносценарист, но пишу и короткие иронические рассказы, на которые вот уж несколько лет как держится хороший спрос. В писаниях своих я никогда никакой *темы* не находил (если спрашивали — подсказывала жена), излагал, как умею, попавшиеся под руку сюжеты, частью подслушанные, частью взятые из пережитого, а подчас и вовсе залетевшие невесть откуда. История, на мой бесхитростный вкус, должна иметь начало и конец, а извлечет ли из рассказанного мною кто-либо какие-либо уроки — это уж, как говорится, его подробности (жене, разумеется, я ничего подобного не говорю). Я люблю рассказывать истории, это не корпеть над сценарием — вариант за вариантом, и не перестая удив-

ляться, что за это удовольствие мне еще и платят деньги. Жена же, как человек, не сочиняющий историй, а только статьи, уверена, что писатель (я в данном случае) всю жизнь проникает в некую глубинную, неизменную для его существа тему, пусть сам об этом и не подозревает. И рано или поздно он, писатель, осознает (с помощью критики, а чаще жены, надо полагать), что, собственно, всем написанным он хотел сказать,—

и тогда (смекаю я) о писателе критики могут сочинять монографии, а жены — мемуары, если тому удалось, конечно, во время преставиться. Иногда, когда я разболтаюсь за столом неосторожно и расскажу что-нибудь, как мне кажется, забавное (историйку всегда хорошо, прежде чем записать, обкатать устно), я ловлю на себе странно задумчивый взгляд моей жены, пугающий меня. Тлеет в нем сдавленное безумноватое какое-то возбуждение, своего рода вампирическая алчность. Я осекаюсь, но все равно слышу, как жена произносит, обращаясь к гостям и сдерживая дрожь ликования:

— Вы заметили,— и называет меня в такой момент по фамилии,— он снова вышел на свою тему...

И вот теперь я должен был описать этот случай, которому и свидетелем-то не был, а узнал нечто сбивчивое от жены, которая, в свою очередь, услышала обо всем от хозяйки. Не в первый раз она подталкивала под руку, и, справедливости ради, надо сказать, часто бывала права. И некоторые ее соображения, а подчас и целые фразы я с чистым сердцем использовал в своих сценариях, доверяя ее вкусу и слуху, но она маниакально преследовала единственную цель — чтобы и прозу я писал не без ее указаний (она искренне, бескорыстно

хотела мне помочь, я знаю), и зачастую трогательно удивлялась, что, мол, советовала мне то-то и то-то, но я написал все равно по-своему. В таких случаях мне делалось неловко перед ней, но таково уж мое несчастное свойство: когда лет десять кряду меня не печатали, моя симпатичнейшая редакторша, подкармливавшая меня те эти годы восточными переводами, восклицала: «Да напишите же вы, наконец, Им что-нибудь!» Я действительно много раз садился к столу с намерением написать что-нибудь Им, и всякий раз из-под моего пера выходила такая беспросветная абракадабра, что я впадал в крайнее уныние, обуреваемый сомнениями в своих умственных способностях.

А дело было вот в чем: вчера вечером в километре от поселка, где мы наняли комнату, как раз там, где начинаются живописные скалы и где запрещена ночевка туристам и стоянка автомашин, арестовали чей-то автомобиль. Мы уже позавтракали, жена отправилась в сад (мы вставали поздно, на море ходили, лишь когда спадала жара), я сел за письменный стол и стал усердно изображать работу (лелея, естественно, мечту прилечь на кровать с газетой и с сигаретой, что возможно было лишь в случае, если бы жена ушла на рынок), как вдруг она вошла в комнату и, присев за моей спиной на кресло, преподнесла мне это сообщение несколько меланхолически, и от этой ее раздумчивости я не ждал ничего хорошего, в ней всегда в нем таился некий укор, причем, сколько я ни напрягал воображение, никогда не мог сообразить во время, чем заслужил осуждение и откуда неведомый ветер гонит первые облачка. Жена выложила мне всю историю (если, конечно, это можно

назвать историей) как бы в три хода. После первого я позволил себе пожать плечами и переложить на столе пару листочков (выглянув, правда, во двор и убедившись, что с моей машиной все в порядке), сигнализируя, что занят, что мне всегда приятно с ней поболтать, но сейчас я не хотел бы отрываться по пустякам. Но тут жена сделала следующий ход, твердо ставя слова:

— Владельца пока так и не нашли.

В тоне ее, глубоко-глубоко, я почувствовал раздражение, словно она заранее готовилась дать отпор. Мне пришлось повернуться к ней и, изобразив изумление (что вышло неискренне, должно быть), спросить: — Так и не нашли?

Вообразив, что я иронизирую, но не позволяя себе оскорбляться (что непременно предприняла бы, не будь на моем месте такое ничтожество, как я), отчеканила:

— Этот человек, по всей вероятности, утонул в море. —

(Как будто здесь было в чем еще утонуть). И добавила, снисходя до подсказки: — Тебе не кажется это странным?

Мне, вообще говоря, это не показалось странным. Любой теоретически может утонуть, приехал он на автомобиле или пришел пешком. Море глубокое. И если человек неважно плавает (как я, например), или полез в воду спьяну (что и со мной иногда случалось), или ногу у него в неподходящий момент свело судорогой (как у меня в постели прошлой ночью), то отчего бы ему, собственно, и не утонуть. Но вслух я сказал:

— Да, пожалуй, это странно.

Но тут же понял по ее подозрительному взгляду, что все равно промахнулся. Я подумал смятенно, что, скорее всего, в этом разговоре неадекватен (на мою неадекватность в разговорах с людьми мне бывало неоднократно указано), что, по всей вероятности, не смог на основе полученной мною суммы данных воспринять изюминку, что делала историю важной и достойной разгадывания. Я быстро постарался перебрать в уме все сказанное женой, но только запутался и не смог добраться до сути. Видно, у меня было столь жалкое выражение, что она, наконец, смягчилась:

— В машине остались все документы владельца, техпаспорт, деньги, вещи, и машина была заперта. Значит, если владелец отправился в море,— она так и сказала — *отправился*,— то собирался он не просто искупаться, иначе для чего было запирасть автомобиль и брать с собою ключи?

Логично, подумал я, сам я не беру с собою в воду ключей от автомобиля.

— Значит — он не собирался вернуться!

— Или собирался вернуться не скоро,— обмолвился я и тут же пожалел об этом. Впрочем, мое замечание было пропущено мимо ушей, ибо партия близилась к финалу, настало время для решительного, завершающего хода.

— Ты не чувствуешь,— спросила жена холодно,— что в этом есть твоя тема?

Я не чувствовал, как всегда.

— Тема преодоления запретов и табу. Как же можешь ты не чувствовать, ты...

Сейчас она скажет, что я известный писатель, она всегда так говорит, когда следом за этим намерена подчеркнуть всю степень моей недоумочности.

— Постой,— перебил я ее, почувствовав наконец волю к сопротивлению,— постой, если он собирался утопиться, то зачем вообще ему было заботиться о машине, брать с собою ключи. Конечно, конечно, я слышал об особой аккуратности самоубийц — предсмертные записки, предусмотрительно сложенные на берегу брюки, прилежно поставленные туфельки на мостках у пруда...

— Работай, не буду тебе мешать, — сказала она и встала. — Но подумай: человек приехал издалека, на машине его — московские номера, приехал издалека с тем, чтобы исчезнуть навсегда, перейти в другой мир!

— Может быть, у него жена, дети, ему негде было повеситься! — вскричал я.

— Подумай,— повторила она, — он приехал к границе. И исчез!

— Да с чего ты это все взяла! — возмутился я окончательно, угадав, наконец ее мысль.— Ну, отошел в поселок, встретил знакомых, напился, заночевал у девочек, наконец. Сегодня утром пошел первым делом опохмелиться. Он мог и не знать, что стоянка запрещена, что уже вечером пограничники позвонили в милицию...

Жена слушала спокойно, но в этом не было ничего хорошего.

— Ты кончил? — спросила она. — Так вот, не меряй всех по себе.

Она вышла из комнаты, окутав меня таким плотным облаком презрения, что я от досады развалился на

диване, а ноги закинул на спинку, чего в других обстоятельствах никогда себе не позволял.

2.

У каждой семьи, должно быть, есть собственные сценарии на многие случаи жизни: сценарий встречи, сценарий разлуки, сценарий ревности и сценарий примирения. У нас с женой наиболее разработанным был сценарий размолвки, того, что она называла недопониманием (имея в виду, разумеется, мое недомыслие).

Первое, что указывало на мое недопонимание (ее самой, ситуации, идеи или журнальной статьи) — это молчание за обедом с холодно-деликатными светскими просьбами передать ей то или это (чаще всего стол был достаточно мал, она и сама могла бы до всего дотянуться). Но всякий раз меня поражало, как какое-то непонятно-неестественное явление природы, что эта теплая домашняя женщина с мягкими улыбкой и глазами умеет становиться столь далекой и невозмутимой.

Если я выдерживал этот раунд, то вторым пунктом, подчеркивавшим мое недопонимание, бывала одинокая прогулка, которую она предпринимала, не сказавшись. Это — всегда ее сильный ход, я — неврастеник, страшно волнуюсь, если к поезду на вокзал мы не приедем за полчаса (при этом проклиная, конечно, себя, но и не в силах с собою и своим волнением справиться), а тут ее нет сорок минут, час, полтора, где она — неизвестно, не случилось ли чего — как узнать, ожидание крепко держит меня за горло, хоть я и сознаю прекрасно, что делается это именно для меня, а на во-

прос где ты была? последует неизменное: *я хотела побыть одна.*

Как правило, этого бывает достаточно. Мне стоит усилия разозлиться по-настоящему, но после этой ее фразы я не могу сдержаться, на меня что-то находит, я принимаюсь топтать ногами, кажется — я ненавижу эту ее деланную холодность, я воплю, что так жить нельзя, а она, дав мне раскричаться на всю катушку, наполняет слезами мои любимые, свои прекрасные глаза и произносит, называя меня при этом по фамилии: ты не любишь меня. Разумеется, я знаю, что я тиран, я варвар, я деспот, не позволяющий жене, так много для меня делающей, и полчаса побыть наедине; мне стыдно; я вспоминаю, что она всегда хотела иметь детей, но сначала мы откладывали, потом — не выходило, что так долго она была предана мне, когда я не зарабатывал и ста рублей в месяц, мыкался и часто раздумывал, не лучше ли всего забросить всю эту литературу к черту, напиться, а потом сесть в тюрьму или повеситься, и, может быть, действительно спился бы, не будь ее рядом; и что теперь, когда мы относительно богаты, ребенка заводить все равно уже поздно, и что мы вместе навеки, навеки, а я уже почти стар, *дурен, стар и не умилен*, по временам капризен, невыносим, а она все еще молода, молода и красива,— почти как прежде. Я знал, что мы родные больше, чем родители и дети, чем брат и сестра, и она для меня скорее дочь и мать, чем жена и подруга, и что, если б она изменяла мне, я склонен был, наверное, думать скорее о том, не простудилась ли она и не обидел ли ее кто, чем самому обижаться и ревновать...

Но на сей раз к обеду все, слава Богу, уже улеглось. Встав из-за стола, в знак обоюдного решения не ссориться и не тягаться, мы решили дойти до кофейни, где и принять по рюмке коньяка с кофе перед тем, как подремать с книжкой на пляже. Но повела она меня кружным путем (я не сразу заметил это), а когда подошли к бухте, за которой и начинались скалы, сказала дружелюбно и буднично:

— Вот тот автомобиль, о котором я говорила тебе утром.

Вот как. Значит, она ничего не забыла, все это время переминая в уме свои предположения и гипотезы, и привела меня сюда вполне сознательно, как бы подталкивая и меня исподволь к такой же внутренней работе, необходимой, должно быть, с ее точки зрения, для моего же блага.

Это была новенькая «семерка», краска «слоновая кость», и ничто не говорило о том, что машина подконвойна. Внутренности арестанта, мягкий белый ковер с ворсом, панорамное зеркало заднего вида, не убранные в бардачок кожаные водительские перчатки, еще некоторые мелочи, заметные пристальному автолюбительскому глазу, да и сама масть, указывали на то, что владелец — человек состоятельный и, но всей видимости, интеллигентный, не жлоб, как говорили в моей молодости, нашего круга, как сказала бы теперь моя жена.

Я внимательно (и отчасти, чтобы угодить жене, но отчасти и из проснувшегося любопытства и обычного для людей моих занятий соглядатайского инстинкта) осмотрел машину, разглядел сквозь мутноватое, небрежно протертое стекло немногим больше пятидесяти

тысяч на спидометре, подметил, что автомобиль слегка битый — краска на левом крыле подновлена и другого оттенка, левый передний скат обрызган из пульверизатора (скорее всего, чинился не на станции). Легко было заключить, что автомобиль этот приобретен совсем не из последних сил на деньги, занятые у тещи и набранные по знакомым, симпатичная мне небрежность сквозила во всем, машина содержалась отнюдь не как предмет гордости и престижа, хозяин на ней много передвигался (быть может, для него это — профессиональная необходимость), что куплен он недавно, скоро будет продан с целью приобретения следующей модели, что хозяин, быть может, немного лихач, но с хорошей шоферской выучкой... Конечно же, я увлекся и уже кое-что нафантазировал (хоть и можно реально кое-что сказать о человеке по виду его машины — для него это предмет престижа или элемент образа жизни), я даже заглянул под крышку бака — пробка была без замка, и конечно же жена почла за лучшее одернуть меня, спросив иронически, не покупать ли я эту машину намереваюсь (ирония относилась, надо думать, к моему старенькому «Москвичу»). И я не стал с нею делиться своими наблюдениями (она бы непременно подняла меня на смех) и, оглянувшись на машину в последний раз, заметил: на заднем сиденье валялся небрежно свернутый плед, две пустые коробки от цветной пленки «кодак»...

Прошел еще день, я работал, жена читала в беседке и делала выписки, потом ходили на почту (звонили в Москву довольно нудной, на мой взгляд, паре, недавно вернувшейся из-за границы и назначенной женою на

этот сезон *милыми людьми* и нашими друзьями — она у меня чуть снобка), к вечеру закапал южный уютный дождичек, мы сидели за чаем, жена читала вслух что-то для новой своей статьи о молодом режиссере, последний фильм которого (ужасающе скучный) было положено посмотреть *каждому культурному человеку*, как вошла хозяйка. По милой мне деревенской манере (была она родом откуда-то из Тверской губернии), она отказалась пойти к столу, а примостилась у двери на табурете и сразу, обращаясь к моей жене, заявила, что давешнего водителя так и не нашли, а что саму машину днем увезли в город (приехали с краном, погрузили и увезли). Жена моя востепенулась, я безрезультатно пытался свернуть разговор на рыночные цены и произвол районного начальства, но женщины понимали друг друга лучше, хозяйка точно исполняла заказ и добавила, что пресловутую машину видели возле поселка не раз и не два. У соседки племянник работает в ГАИ, он рассказал, что этот самый автомобиль с этим самым московским номером недели две назад пограничники задержали на трассе.

— Вот видишь, — проронила жена, не глядя в мою сторону, хотя что, собственно, я должен был здесь видеть.

Ночью автомобиль с зажженными фарами много раз проехал туда и сюда в том месте, где трасса подходит вплотную к морю. Пограничники передали на пост ГАИ, что на трассе происходит нечто подозрительное, ГАИ передало обратно, что описанной машины они не видели, тогда пограничники спустились на трассу и сами задержали нарушителя. Оказалось, этот человек

производил ночью какую-то фотосъемку (хозяйка в этом ничего не понимала, по ее словам, но заметила, что *здесь что-то нечисто*), установил камеру на повороте, а сам ездил мимо нее туда-сюда, чтобы заснять собственные фары (быть может, хозяйка пересказывала все это с протокольной точностью, а племянник-гаишник описывал все происшедшее именно таким способом). Конечно, пограничники с радостью его арестовали, но у Фотографа (теперь я его буду называть именно так) были какие-то бумаги от какого-то издательства, всякие удостоверения, и вообще он оказался важной птицей, и его пришлось отпустить, хоть пограничники и передали его в ГАИ, что-то у него было не в порядке с самой машиной. Но, видно, и те отпустили его, раз машина снова оказалась в поселке...

— Что ты обо всем этом думаешь? — спросила жена, когда хозяйка оставила нас вдвоем.

Я ответил, что ничего не думаю, кроме того, что сам только что слышал вместе с ней.

— Что же? — настаивала она.

Я сказал, что думаю следующее: московский фотограф, снимающий по договору с издательством, крымские виды для альбома, скажем, или календаря, облюбовал этот уголок, снимал его днем и ночью (здесь жена иронически хмыкнула), а уж куда он запропастился — не ведаю, но полагаю — еще разыщется, если уже не отыскался и не уговаривает сейчас, когда мы ведем эту беседу, милицию вернуть ему автомобиль и разойтись любовно.

Жена слушала меня спокойно и со вниманием. Когда я кончил, отвернулась от меня и задумалась. По-

молчав, она потрянула головой и решительно воскликнула:

— Чушь! Чушь!

И я мог не сомневаться, что относится это к моим дедуктивным способностям.

3

Когда я работаю, я должен всякую минуту ощущать невидимое присутствие своей жены — за стеной в нашей городской квартире, в саду ли, когда мы живем летом на даче (однажды раз и навсегда было решено, что мы не ездим больше по творческим домам, где тебя заключают в какую-нибудь вполне случайную компанию, томящуюся бездельем и собственной избранностью, после первой же выпивки бесцеремонно пытаются испробовать твою личную жизнь на прочность, а получив отпор, начинают смотреть со смесью страха и презрения — как на прокаженного; все это похоже на коллективное безумие и негласный сговор о непременном промискуитете — ах, как вкусно выговаривает это словечко моя жена). На худой конец, я должен знать, что она отлучилась по делу, ушла за покупками, поехала в редакцию, и тогда, ни на секунду не отвлекаясь и думая только о своем рассказе, я чувствую, что вот сейчас она в метро, сейчас стоит на троллейбусной остановке, вошла в магазин, а вот, наконец, движется по направлению к дому. Этот парапсихологический эффект реален настолько, что я никогда не ошибаюсь в количестве шагов, что осталось ей в подъезде до лифта, и открываю дверь за секунду до того, как она в нее позвонит или

вставит в замок ключ. Поэтому сейчас я с абсолютной ясностью почувствовал, что ее нет рядом. Заставив себя просидеть за столом еще минут пять (абсолютно пустую, конечно), я встал и убедился, что и ее рыночная корзинка, и кошелек на месте. В беседке, разумеется, ее тоже не было. Я спустился к морю кратчайшей дорогой (это всякий раз бывало для меня работой, но жена иронией и уговорами каждый день спроваживала меня по этой крутой тропинке, не давая спуститься к пляжу кружным пологим путем,— для похудания), но на том месте, где мы устраивались обычно, ее тоже не было (впрочем, я знал, конечно, что ее там не будет). Я побрел вдоль моря в сторону пристани, вполне бесцельно, не зная, дать ли волю раздражению или все силы использовать на то, чтобы подавить волнение и тоску (впрочем, точнее это было бы назвать страхом, сосущим гадким загнанным внутрь постыдным страхом в один прекрасный день остаться без нее и обессиливающим томлением от гипотетической необходимости искать другую женщину, с которой ведь никогда не сможешь уже так же сродниться, чье присутствие в твоей жизни придется терпеть, морщась от отвращения, едва только взглянешь на ее жирный загривок — отчего-то всякая другая возможная подруга представляется мне именно с жирным загривком)....

Я увидел ее издали на пирсе (и это при моей близорукости) — моя жена прекрасно сложена, выше меня на три сантиметра, с хорошо посаженной небольшой головой на стройной шее, с очень прямой спиной; сегодня на ней было ярко-красное длинное легкое индийское платье с желто-зелеными кругами на животе и

спине, колышущееся возле ее тела. Через несколько шагов я увидел, что говорит она с группой матросов, обслуживающей прогулочные катеров. Как ни неприятно это было, я понимал, что фактически выслеживаю ее.. Она была оживлена, правой рукой все приглаживала непослушные под ветром волосы, а в левой на отлете держала большие пляжные очки, которыми жестикулировала. Меня и восхитило, и тайно уязвило, что вот так, со стороны, в компании незнакомых молодых мужчин, она выглядит много моложе своих тридцати девяти (хоть у нас с нею и считалось, что она на редкость хорошо сохранилась, и я был вполне искренен в этом сговоре); но что было еще нелепее, она казалась много жизнерадостнее, чем обычно,— никакой напряженности или застылости, какими она умела буквально гипнотизировать малознакомых людей, если они вели себя, на ее взгляд, чересчур вальяжно.

Я отвернулся и пошел прочь. Я чувствовал себя несчастным ревнивцем и мелким пакостником, готовым задушить малейшее движение близкого человека — к свободе (что могло, знаю по себе, привести лишь к пароксизму упрямства), и вместе с тем напряженно решал — расскажет ли она мне о том, что делала там, на пирсе. Дойдя до нашего обычного лежбища, я присел на гальку, снял рубашку и принял позу раздумья — на тот случай, если она хватится меня и догадается спуститься на пляж. Я втайне считал, что жена моя весьма тщеславна, но и потакал ей в этом её пороке, зная, что тщеславие ее, вовлекая в свою орбиту и меня (ленивого, хоть в молодости и не лишённого честолюбия и порыва выбиться из провинции — и в географическом, и в ду-

ховном планах), дает нам энергию существования среди людей; мы приняты нынче в хороших домах (и двери их открылись нам отнюдь не только из-за моих удачных премьер и книг), посещаем вернисажи, не прилагая к тому усилий (художники сами приглашают нас), оказываемся на всех громких премьерах и громких просмотрах в Доме кино; если мы ужинаем в ЦДЛ или в ЦДРИ, то всегда в очень приличной компании, а если во время вечеринки у нас дома звонит телефон, то, скорее всего, положив трубку, жена будет иметь возможность произнести вслух какое-нибудь известное имя; короче — мы приняты в тот неоглашаемый список, который и называется *вся Москва* (как же далек я был от этого еще десять лет назад и как же далеко все это от того, о чем мне грезилось когда-то). И мне все чаще начинает казаться, что когда мы уединяемся в просветах этой светской жизни в таких вот поселках или в маленьких безвестных пансионатах в Крыму, на Каспии или в Прибалтике, где только мне и удастся по-настоящему работать, то мы не просто уезжаем из города, но — скрываемся. Но от кого же мы бежим, от чего прячемся, почему сейчас, когда вроде бы все наладилось, мы сделались не то что бездомны, но как бы полудомны? Как случилось, что близкие друзья рассосались — умерли, уехали, отделились, что многие из окружающих нас — фальшивы в своей к нам симпатии, и что наше отсутствие в Москве если кому-то и заметно, то лишь моим редакторам, завлитам и режиссерам, да и то в те моменты, когда я для чего-либо вдруг понадоблюсь? И почему оказалось сейчас, когда больше половины жизни прожито, что, честно говоря, даже и выпить в охотку не с кем, поговорить

по душам или поплакаться, что, по мере того как сил и желаний делается меньше, жизнь все больше напоминает табор, карусель, балаган, лица мелькают, встречи — случайны, и мы мечемся по стране из угла в угол, бросаемся за границу, шарахаемся назад и, потомившись на Пицунде, рассказываем в Москве, как нам было чудесно, а явившись в Дубулты, говорим об откровенно скучном кинофестивале, как он был интересен и хорош. В свою собственную квартиру мы возвращаемся лишь вынуть из ящика почту, и квартира нам кажется чужой, и мы в тот же вечер строим планы будущих поездов, потеряв, должно быть, безвозвратно то, что некогда называлось укладом. И многие вокруг нас живут так же, без устойчивых связей, без заполненности многих жизненных пустот, уголков и промежностей, не отличая каркас от прокладок, будто жить мы все собираемся только завтра, а нынче лишь собираем багаж...

Я заметил, что неподалеку двое мальчишек заняты странным делом: на пляжной гальке они оставляли какие-то знаки, прыская краской из иностранных аэрозольных баллончиков. У каждого было по баллону в руках (желтый и красный), но краска уже лишь сочилась, видно, была на изморе.

— Эй, — окликнул я, — что это у вас такое?

Нынешние мальчишки не пуганы; они подошли охотно, один из них протянул мне баллон.

— Пожалуйста, — сказал он снисходительно и даже с оттенком сарказма (быть может, сарказму их теперь учат одновременно с таблицей умножения).

— И где вы это взяли? — спросил я сурово.

— Нашли, — пожал плечами другой.

— Вон там, под скалой, — добавил первый и показал в сторону бухты.

— Но там больше нет, — уточнил его приятель, — мы все обыскали...

Как всегда и бывает, моя жена появилась ровно в тот момент, когда я этого меньше всего ждал. Я лишь успел отдать мальчишкам баллончик, как она набросилась на меня сзади, укутав с головой махровым полотенцем, пригибая мою голову к земле, приговаривая:

— Вот где попался, гуляка!

Это было неожиданно, игры такого рода практиковались между нами много лет назад (в молодости жена любила иногда дурачиться, обниматься, барахтаться), но сейчас я припомнил это без всякого удовольствия, потому, очевидно, что и сам был когда-то много более прыток, чем теперь.

— Ну что ты, что ты куксишься, — все теребила она меня, называя по уменьшительному имени. И тут же объяснила причину своей неожиданной веселости: — Я кое-что узнала!

— Что же ты узнала? — спросил я, отбившись.

Она опустилась на гальку рядом, накрыла длинным подолом колени, обняла их руками и устремила взгляд в морскую даль (круг на ее животе скукожился, а на спине расплылся).

Я ждал.

— На причале мне сказали... — начала было она, но я перебил ее — от радости, что она говорит правду (вот он, червячок страха перед ее отдельностью).

— Ты была на причале?

— Я была, — отвечала она задумчиво, но ничего больше не пояснила, и моя преждевременная радость растворилась табачным дымком.— Там мне сказали,— продолжила она,— что два дня назад пограничники выловили из воды голого человека.— Она сделала паузу, поиграла в руке солнечными очками, но я настороженно молчал.— Голого человека,— повторила она, не отрывая глаз от пустынных волн.— Он плыл прямо в открытое море. Да, в открытое море.— Она решительно нацепила очки на нос и обернулась ко мне.

— Он был голый, — сказал я.

— Он преодолел в себе н е ч т о, — сказала она, раздражаясь. — Бросил все и ушел не оборачиваясь. Он преступил.

— Как Толстой, — снова сгруппировал я.

— Если угодно, — отвечала она с непередаваемым высокомерием. Как будто это она сама, раздевшись догола и меня покинув, преступила.

Я стал расстегивать штаны.

— Окунешься? — спросила она равнодушно.

— Нет, — отвечал я строго, вылезая из штанин.

Она посмотрела на меня с мгновенным любопытством.

— Поплыву прямо в открытое море,— сообщил я. Но моя клоунада не имела ни малейшего успеха.

— Ах, оставь комедию, — сказала она, даже не улыбнувшись. Поднялась на ноги, поежилась. — Поднимается ветер, ты не чувствуешь?

Я не чувствовал. Стояла жаркая ясная тихая погода, — но к вечеру, как ни странно, она таки испортилась (видно, есть там у них на пирсе какие-то особые мор-

ские приметы, которыми они и делятся с чужими женами).

— Гений он или пошляк? — рассуждала моя умная жена за вечерним чаем. — Это безразлично, раз он почувствовал в себе толчок свободы.

(Мы уже договорились, что был это, разумеется, не владелец автомобиля, не мой Фотограф, но для жены, оказалось, это было вовсе не существенно, ее волновало преступление как таковое, она испытала, похоже, сразу чувства удовлетворения, успокоения и разочарования.)

— Он был пьян, — предположил я. — И думал, что плывет вдоль.

— Ведь не мог же он не понимать, — продолжала она, обращая на меня внимания меньше, чем на комара, — что он никогда никуда не приплывет.

— Полагаю, он надеялся на награду.

— Ты думаешь?

— В Турции его премировали бы феской.

— Нет-нет, он принял бы мусульманство, сделал бы обрезание, и ему подарили бы гарем. Скажи, ты поплыл бы голый в открытое море, если бы тебе за это подарили гарем?

— Не поплыл бы, — сказал я, ничуть не слукавив.

— И у тебя были бы наложницы, молоденькие, всех цветов и оттенков. О, я вижу тебя в гареме, ты был бы великолепен. И всего-то проплыть какую-то тысячу километров...

— В ластах? — спросил я.

И тут она, наконец, рассмеялась. Я успокоился. Перед сном она слушала Би-би-си, я дремал, обняв ее за

плечо, но сквозь голос дикторши, сквозь знакомое дыхание жены различал, как внизу, под нами, расходившееся море шевелит прибрежную гальку, будто кто-то перебирает мелкие камушки в большом кармане.

4

В шторм мы по давнему соглашению не работаем, но гуляем, пьем коньяк и иногда (это великая наша семейная тайна) перекидываемся в картишки. Шторм — наша суббота.

Мы встали позже обычного, завтракали долго, я, не торопясь, прочитал газеты за три последних дня, просмотрев даже передовицы и письма читателей, причем не без улова: из «Известий» я вырезал прелестную статью о том, как в Магаданской области пропили морг вместе с покойниками. Морг помещался в санном балке — и балок понадобился кому-то; приводилась и сумма, полученная сторожем, — триста рублей. Жена добродушно посмеялась вместе со мною, заметив мимоходом, что зря я стараюсь, история эта мне вряд ли пригодится. Она права — вряд ли, но не зря же я битый час потратил на газеты. Решено было, что после мытья посуды мы прогуляемся.

Захватив плащи, мы пошли к морю — даже сверху видно было, что наше обычное место на пляже то и дело лижут языки белой пузырящейся пены. Как ни в чем не бывало, мы направились к бухте, где третьего дня рассматривали арестованную машину фотографа, но ни я, ни жена и словом об этом происшествии не обмолвились. Я молчал о некоторых своих догадках, но, обойдя

бухту и вскарабкавшись на большой камень, неожиданно увидел нечто, что далеко превосходило мои предположения: высокая, отвесная, вся в расселинах и морщинах, скала, невидимая из бухты, уходила вверх, а под ней, ближе к морю, поверхности нескольких больших камней, походивших на огромные осколки, были закрашены желтой и красной красками. Вблизи они смотрелись довольно топорно, краска была разбрызгана неровно, но издалека и при определенном освещении эти закрашенные островки среди нагромождения диких прибрежных камней могли выглядеть весьма эффектно. Я обернулся, чтобы позвать жену. Она сидела на камне с краю бухты и вновь, как тогда на пляже, задумчиво смотрела в море. Мне сразу показалось странным, что жена не заговорила со мною о пропавшем водителе, когда мы сюда пришли, впрочем, я подумал, что она, возможно, почувствовала некоторую неловкость за чрезмерность и скоропалительность своих давешних выводов, но понял теперь, что это отнюдь не так. Она лишь избегала со мной говорить об этом, и я тут же решил, в свою очередь, о своих подозрениях ничего не говорить ей — не нужно было волновать ее еще больше.

Впрочем, когда я подошел, она живо откликнулась: пойдём? И мы вернулись домой.

Людям, которые работают ежедневно, без выходных и отпусков, потому что за долгие годы привыкли так жить, за безделье полагается приз. Мы с женой наградили себя поздним праздничным обедом: она сделала два салата, извлечены были из загашника дефицитные консервы, и жестом манипулятора жена достала откуда-то из своих тайников баночку красной икры — поба-

ловать меня, сама она к икре относилась равнодушно. На второе была тушеная утка с капустой — наше семейное фирменное блюдо, а я поставил на стол коньяк и принес из машины давно припасенную, тбилисскую еще бутылку Мукузани — мой сюрприз жене.

На десерт — раскинули картишки, между делом переминая косточки знакомым, которых тоже не раз приходилось заставить за тайными занятиями, вроде нашего семейного дурачка: моего приятеля-сценариста, меломана, водящего дружбу со Шнитке, — за слушаньем Тухманова; актрису, избравшую жизненным стилем вамп, — за вязанием; а одну полоумную поэтессу, подписывающую письма и даже открытки ко мне не иначе как *сестра твоя во Христе*, — за просмотром детективных телесериалов. Мы прихлебывали коньяк, и по многим и многим признакам я начал замечать, что жена моя явственно напивается. У нее было завидное качество: алкоголь оказывал на нее действие в прямой зависимости от ее намерений. Она могла оглушить поллитра водки и быть, что называется, *ни в одном глазу*; но могла и скапуститься от одной-двух рюмок. По всем приметам ссориться она со мной не намеревалась, ее заигравшие хмельные глаза не предвещали объяснений со слезами, но и ее плана, в котором она и сама могла не отдавать еще себе отчета, угадать я не мог. Ясно было лишь, что виной всему шторм, поскольку, отбивая трефы пиками, она прикрывала глаза и то и дело прислушивалась, и неясная какая-то улыбка появлялась у нее на губах.

В бутылке было еще на треть, как жена вдруг смешала карты, воскликнув:

— Как это глупо!

Я не мог не согласиться, что действительно играть в дурака — не самое умное занятие.

— Глупо сидеть вот так, взаперти, взаперти! — прокричала она, кружась по комнате. — Я иду к морю, а ты — как хочешь!

Разумеется, и думать было нечего отпустить ее одну. Я влез в ботинки, тоже натянул плащ.

На сей раз мы свернули к пристани. Дойдя до билетной будки, моя жена остановилась и стала тщательно изучать расписание, причем капли дождя ползли по ее покрывшимся красными пятнами щекам. Изучать расписание катеров под дождем, когда ты не собираешься никуда плыть, а сами катера стоят на приколе, глупейшее занятие, о чем я ей и поведал. Она не отвечала, и я тоже, как дурак, уставился в расписание. И сразу же понял, что это с ее стороны был лишь маневр.

Выпустив на мгновение ее руку, я вдруг ощутил, что она буквально отпорхнула от меня и — крупными шагами почти побежала по пирсу, устремившись в тот конец его, где волны с грохотом разбивались о волнорез. Я и опомниться не успел, как увидел ее фигуру уже на фоне застывшей в прыжке огромной волны, косматой и зловещей. Я побежал за ней. Но она, вдруг раскинув руки, что-то крикнула в лицо, так сказать, стихии и застыла в жреческой позе, будто декламировала Бальмонта. Я подбежал, схватил ее за плечо, но она увернулась с той ловкостью и неуклюжестью одновременно, что проявляют подчас пьяные, обуянные своей идеей. Отпрыгнув от меня, она снова раскинула руки и птицей закружи-

лась по мокрому бетону, стремясь все дальше, к краю пирса, к ревущей и беснующейся воде.

— Нептун тебе в помощь! — разобрал я ее торжествующий клич. (Отчего же Нептун, Господи!)

И в этот момент я на какую-то долю секунды понял (и вспоминаю об этом со страшным стыдом), что она — сумасшедшая. Это было дикое, ужасное чувство. Мне удалось схватить ее за рукав. Я резко дернул ее к себе, и она повалилась в мои объятия. При этом она картинно откинулась на мое плечо и спросила с блаженной бессмысленной улыбкой, томно прикрыв глаза:

— А помнишь, я была птицей?

— Помню, помню, — пробормотал я, леденея от страха, и потащил ее на берег.

— Я была птицей, но сначала — рыбой, — толковала она мне весьма убедительно.

И я, проклиная себя за этот поход, а пуще — за свою нечаянную позорную мысль, говорил себе, что она всего-навсего выпила лишнего, что у всех у нас, ведущих разбросанный образ жизни и занимающихся художествами, просто разболтаны нервы, что все мы — своего рода цыгане психической деятельности, отвыкшие от жесткой внутренней дисциплины, но вовсе не больные, нет, не больные...

— После птицы я стала женщиной, — продолжала она, — и твоей женой.

Я выволок ее подальше от пирса, мы оба тяжело дышали. Она сбивчиво лепетала:

— Нет, нет, я вспомнила, сначала — ты женился на рыбе и потом только превратил меня в женщину, негодник, просто у тебя не доставало воображения жить с

рыбой, как жил один рыбак в старой японской сказке, помнишь — у Сайкаку?

Она отстранилась, поправила волосы и взяла меня под руку. И, будто не она только что в безумной пляске кружилась по пирсу, жена пошла рядом со мною чинно, даже несколько чопорно, как ходят или не вполне трезвые люди, или жены стареющих наших классиков под руку со своими мужьями по набережной в Коктебеле, как бы говоря всем своим видом: да, это мы, хоть вы и думали, конечно, что такого не может быть...

Дома мы — чтобы она не простудилась — допили коньяк, после чего она прилегла и мигом заснула. Я откупорил новую бутылку, налил себе еще полстакана, выпил разом, —

и все мои давешние догадки разом приобрели совершенную зримую ясность. Теперь они требовали немедленной проверки. Я оделся и снова вышел во двор. Было около шести, но из-за низких, быстро идущих со стороны моря облаков казалось, что уже смеркается. Я направился к бухте. Я был уверен, что теперь же все разъяснится. Смешно говорить об этом сейчас, но намеревался я найти ни много, ни мало — мертвое тело.

5

Версия моя вполне созрела.

Попытавшись проникнуть в цели и намерения фотографа, с помощью обычной логики я составил такую картину: он, по всей видимости, выполнял свою работу (неважно, заказную ли или продиктованную вдохновением). Снимая здешние виды (ведь было известно, что

он занимался съемкой пейзажей), он облюбовал эту бухточку (уголок и впрямь был живописен). Чтобы не тащить с собою аппаратуру, чтобы автомобиль был на виду, он подъехал сюда, вплотную к скалам, хоть и не мог не знать, что это запрещено (однако у него же были какие-то удостоверения и мандаты, быть может — бумага о содействии местных властей, что-нибудь в этом роде; кроме того, он не мог предположить, что его пребывание здесь слишком затянется). Итак, приехав сюда, он первым делом стал выбирать ракурс, искать удобную точку съемки. Ясно, что отсюда, снизу, открывшийся ему вид не удовлетворил его банальностью, узостью горизонта, сдавленностью и искаженностью пространства. Естественно, ему захотелось подняться выше. Точно так, как я сегодня, он забрался на ближайшие камни — и точно так, как и я, сразу же увидел скалу. И секунды ему не понадобилось, чтобы оценить завидную возможность снимать оттуда, сверху, с ее вершины. И я отчетливо представил себе, какое чувство должен был испытать фотограф, едва оценил вполне эту возможность: охотника, напавшего на след (волнение, азарт, ток крови при внешнем спокойствии, при рассчитанности всякого движения, как это бывает только у профессионалов). Он обошел скалу кругом, примерился — откуда он будет снимать (и я обошел скалу кругом, описал вокруг нее дугу, пока не уперся в отвесную стену, которой эта скала была соединена с соседней, и задрал голову), мысленно построил кадр, а потом решил, где ему нужно нанести на грани нижних утесов свою цветную ретушь (я крайне относительно представлял себе фотодело, бегал когда-то пионером с аппаратом «Смена», но

старался вообразить все себе в подробностях)... Сквозь облака пробивалось теперь закатное солнце, и обрызганные раскрашенные поверхности камней дивно светились, отливая то перламутром, то рубиновым вином.

Фотограф должен был рассчитать время съемки. Скорее всего, он выбрал часы ближе к закату, далеко за полдень, когда отчетливее становятся тени и контуры, когда солнце скользит по воде и камням, разбрасывая разнотонные блики. Было это два дня назад. И если он сорвался со скалы по эту сторону, то я бы уже наверняка наткнулся на него, а если бы его нашли раньше, скажем, вчера, то это наверняка стало бы известно в поселке. Значит, задумав снимать сверху с этой стороны, поднимался он — с другой.

Сам разгоряченный своею версией и собственной догадливостью, я обошел скалу с другой стороны, но снова уткнулся в стену. Значит, значит, соображал я, по ту сторону может быть невидимая, недостижимая с берега расселина, куда и могло свалиться тело. Мне надо во что бы то ни стало подобраться к скале с той стороны, разыскать его, оказать помощь — если помощь была ему еще нужна.

На первый взгляд это была смехотворная версия, так мало у нее было опорных точек, так маловероятно она звучала сама по себе. Но, зная, что жизнь всегда прихотливее самого беллетристичнейшего вымысла, я с чистым сердцем отдался своей фантазии, вполне в нее уверовав. Что и давало мне силы к действию (я подвержен рефлексиям, знаю о себе это и их, рефлексии, подавляю, отчего зачастую становлюсь их жертвой наоборот — совершаю глупейшие вещи, которые никогда не

сделал бы человек, со своими рефлексиями находящийся в состоянии мира). Я хорошо представлял уже себе и самого Фотографа: мужчину моих лет, но стройного, с хорошим тренированным телом, с седыми густыми волосами и горбоносого (отчего горбоносого, я и сам не знал).

Мне предстояло зайти к скале с тыла, для этого я сделал солидный крюк, долго перебирался по отвалу, полному острых, с торчащими вразнобой концами камней, потом стал карабкаться по какой-то осыпи, цепляясь руками за жалкие прутья кустов и обжигая руки. Накапывал дождь, плащ мешал мне, к тому ж снова потемнело, облака сомкнулись, и море и небо за моей спиной стали цвета мутного розового киселя. С трудом добрался я до какой-то площадки, отдышался, оглянулся назад. Метров на десять я таки поднялся. Прямо передо мной был все такой же бесконечный осыпающийся склон, но направо, по направлению к скале, из-под глины и щебня выглядывала скальная порода, напоминающая ребристый позвоночник какого-нибудь доисторического чудища. Я легко продвинулся по ней, но опять уткнулся в стену. Сзади меня ждала лишь перспектива ползти снова по осыпи вниз, а скорее — сринуться с нее на острые камни вместе с кучей земли и песка, —

и я полез вверх.

Скалолазанье — не моя стихия (даже будь я втрое менее скромн — не смог бы этого не признать). Но природная моя неспособность к этому искусству (оставляя за скобками возраст, вопиющую неспортивность, сидячий образ жизни и выкуривание в течение послед-

ней четверти века по пачке сигарет в день) сейчас усугублялась накрапывающим дождем, неподходящей одеждой и выпитыми четырехстами граммами армянского коньяка. Впрочем, последнее обстоятельство (вкуче с азартом поиска и вполне мальчишеской игрой в Шерлока Холмса) поначалу оборачивалось плюсом: на трезвую голову я, скорее всего, никогда никуда не полез бы. Но, пожалуй, неосознанная идея соперничества гнала меня вперед, если же сказать еще точнее — глубоко спрятанная ревность. Теперь задним числом я понимаю, что моя вертикальная гипотеза сформировалась, скорее всего, из чувства противоречия и уязвленности, ведь жена моя первая высказала горизонтальную версию.

Я полз вверх весьма старательно, то и дело повторяя сам себе, что должен быть особенно осмотрителен, поскольку немножко выпил (ровно так, как пьяные все стараются пройти по одной половице, что трезвому никогда в голову не придет). Я тщательно нащупывал выемку впереди, прилежно шарил ногою, подтягивался и казался сам себе ловким. Я думал о фотографе. И представлял себе, как тот же путь проделывал и он, но с камерой на шее, еще с какими-нибудь неизвестными мне приспособлениями, и отчего-то в этот момент совершенно забыл о том конце, который сам же ему и уготовил. Это было как затмение, странное расщепление сознания, я на миг почувствовал упоение от этого своего упорного подъема вверх, от смелости своей в достижении цели. Дождь затекал в рукава, пальцы немели, но я как будто сам чувствовал, что это не у него — у меня упругое загорелое тело, длинные седые волосы, которые

я отбрасываю красивым движением гордой головы, горбатый нос. Мы были с ним на какое-то мгновение — одно существо, припавшее к громадному телу темной каменной скалы, которую решили победить. Мы были вместе самозабвенно обуяны сладкой тоской покорения — так гибнет рыба, идя вверх по порогам горной реки, так мальчишки карабкаются над пропастями с тем, чтобы намалевать на головокружительной высоте свое уменьшительное имя, дату подвига и название своего населенного пункта. Но то — лишь запечатление своего имени, мы же с Фотографом вознамерились запечатлеть мир...

Скала была холодна и грозна, навесами и уступами она защищала свою вершину от вторжения и, нащупывая безрезультатно, за что мне уцепиться в очередной раз, и не находя, я вдруг мигом протрезвел и тут же испытал ужас вполне пропорциональный своему безумству. Я подумал сразу о двух предметах: о собственной гибели и о жене. Гибель была бессмысленна. Я висел на скале, боясь обернуться вниз, не зная — что подо мной, высоко ли я (уж верно достаточно высоко для погибели), шел дождь, и наступала ночь.

Боже, Боже, прости меня за гордыню. За нелепые эти рассуждения, что мне в этой скале, в том, зачем Он на нее полез! Он меня заманил, теперь я это знал точно. Море, небо, раздавшийся мир — пусть с восторгом ты снял все это, но кто это увидит и оценит, если ты не смог спуститься, камера твоя разбита, пленка засвечена. Но даже если бы и сохранился в целости этот снимок, который ты делал с таким геройством — как будет выглядеть он, напечатанный на дурной бумаге с плывущими

нерезкими красками, или Он не знает — какая у нас полиграфия! Да и была ли у Него жена? Был ли вообще кто-нибудь, кого он любил и о ком он обязан был думать! Даже друга у Него не было, раз Он полез на эту скалу один. Впрочем, не возьмешь же жену с собою висеть вот так на мокром холодном брюхе этой ужасной скалы, я не взял бы, а значит, моя жена, часть меня, половина меня, душа моя, не может быть для меня — всем? Если это так, то сколько же сил я растратил, чтобы скрыть от себя и от нее этот остаток, сам тот факт, что она — не все! Если есть на свете вещи, тяжесть которых ты ни с кем не разделишь, и как это горько, как несправедливо и трагично... Но, как ни странно, я и сейчас, в немыслимом своем положении, продолжал завидовать Ему. Я будто сам чувствовал его азартную дрожь, его упоение, вдохновение и блаженство (испытывал ли я это чувство когда-нибудь полнее, чем сейчас,— быть может, только за письменным столом, давно, когда писал, ни на что не надеясь), когда он увидел, наконец, в видеоискателе то, что хотел увидеть, чего не снимешь там, внизу,— просторный мир, и когда он нажал на спуск...

Шторм кипел внизу. Ветер брызгал дождем. Вода текла по лицу, но я не плакал, а только молился о том, чтобы руки мои не разжались. Но меня била дрожь животного страха, мысли путались, и я понимал, что никак не выдержу до тех пор, пока меня кто-нибудь сможет отсюда снять.

И тут я услышал ее голос. Среди шума волн он казался жалобным и слабым, но я все равно расслышал его.

— Эй,— попытался отозваться я. — Эй...

Но, прижатый мокрым лицом к скале, я и крикнуть толком не мог, однако расслышал (или это лишь показалось мне), что голос ее приближается.

— Эй, — снова, напрягаясь, крикнул я и, цепляясь пальцами за камень, стал неумолимо сползать вниз. Через мгновение я сидел на куче песка, меня колотило, но не было ни боли, ни крови. Я заставил себя посмотреть вверх. Скала чернела абсолютно неприступно, и, надо полагать, выше человеческого роста я по ней не продвинулся.

Я сполз ниже и оказался на берегу. Поднялся на ноги, пошел вперед, пошатываясь, дрожа. Она стояла на краю бухты, у самого берега, — и звала меня. Когда я приближался, она обернулась, но не двинулась с места.

— Я тебе все объясню, — выдавил я.

Она смотрела на меня так, будто не узнавала.

— Я думала — ты утонул, — сказала она мертвыми губами. И только потом разрыдалась...

Она довела меня до дома, поддерживая, как больного, но ни о чем не спрашивала. Она раздела меня, как ребенка, растирала одеколоном, поила чаем с коньяком, уложила в постель и, кажется, даже баюкала. Она прижала к груди мою голову и мерно покачивалась взад-вперед, а я все теснее чувствовал ее грудь. Я неразборчиво бормотал о Фотографе, который забрался высоко на скалу, а она успокаивала меня

— Забрался, забрался...

— И оттуда его унесли гуси-лебеди, — утешал ее в свою очередь я, потому что слезы текли по ее необыкновенному сейчас, светящемуся лицу. — Или ангелы.

Она смотрела мне в глаза, плача, и я подробно рассказал, как ангелы подхватили Фотографа и понесли все выше и дальше, туда, откуда еще никто никогда ничего не снимал. Ангелов мне особенно хорошо удалось описать. Они были вырезаны из фольги, как делала когда-то моя бабушка к Рождеству (свои последние годы она прожила у нас в городе). Ангелы были серебрянны, отсвечивали на елке, крылья лохматые, в бахромке, а головки кудрявые. Потом я и сам всплакнул, сладко, как плакал в последний раз когда-то очень давно, и, засыпая, вспоминал и серебряных ангелов, и седого Фотографа, и лицо моей жены. Мне снилось, что про ангелов я сочинил сказку, и мне нравились во сне и они, и сказка. Но гуси нравились тоже.

9. ПОРТРЕТ: НИМФА

Забыл название страны, незадачливый портретист, страны, куда не я послала тебя, что ж, напомним маршрут: от берега Лация с острова Monte Circeo при северном ветре пересечешь Океан; увидишь темный лес, лес ракит и черных тополей при слиянии двух рек (лови же их имена): огненного Пирифлегетона и Коцита, притока Стикса; по пояс в воде — утес-горбун, его ты узнаешь сразу; пусть тебя, путешественника, не пугают рождающиеся тени зимнего царства, жаждущие жертвенной крови; там получишь прорицание (нет, не надо мне его возвращать, не я послала за ним, повторяю), прорицание единственного, кому Аид сохранил в этой местности разум (местности, окутанной влажным туманом и мглой облаков), —

неужели не вспомнил?

Что ж, откроем наудачу старый путеводитель (издание А. Д. Анджело), вот местечко и плодородная долина, вот декорация крепости, вот больница, несколько лавок, гостиница; вот нотариус, еще нестарый, кланяется тебе, приподняв свою мягкую шляпу, поклонись в ответ и ты, нелюбезный, как, и его не узнаешь?

Тогда пролистнем еще лет пятнадцать — двадцать, профессора Полканов и Маркевич (пардон, господа, извиняйте, товарищи, запоматовались ваши инициалы) констатируют: за последние годы виноградники сильно пострадали, пострадал также знаменитый розариум с 1000 сортов роз (именно так, арабскими цифрами). Увы, разорен розариум русского князя, исчезли с лица земли генуэзцы, я печалюсь об этом (но о розах печалюсь особенно), выдохлось наше шампанское, сомнительный сын Сизифа, но все прочее — к услугам:

на месте виноградников — пашня, корпуса санатория военно-воздушных сил вдоль асфальтированной набережной, освещенной по вечерам помаргивающим неоном; на склоне противоположного холма (как раз напротив нашего грота) дощатые солдатские бараки; кupy низкорослого кустарника у бывшего речного устья, тысячи тяжелых чаек (эти прописью) на городской свалке, равнодушных к добыванию пахнущей нефтепродуктами морской пищи. В детском спортивном лагере Юный Разведчик громко играет радио (да-да, лаванда, ягода малина, но только не подпевай, прошу, все ли фотографии так тугоухи); общественная уборная, наконец, на краю пляжа — мушиный рай. Но не хмурься, слезы отри, злополучный, —

по-прежнему песчано-розов закат, прян сухой ветер с гор, несущий прах сгоревших под солнцем цветов, пурпурно море, фиалково и виноцветно (темно-лазурно и просто темно, как перевел Жуковский), —

Новый Свет, старый мир, новый мир, тот свет, что тебе до того, пока ты со мною, мой странник!

Остров древний; дом построен татарами еще в те времена, когда в здешних местах разбойничал некто Алим, наводя страх на приезжих (без страха — какой праздник), его схватили поздней осенью в Симферополе на променаде. Впрочем, это было в прошлом веке. Перед последней войной мазанку купил под дачу художник с итальянской фамилией, женатый на дочери поэта-декадента. Чета дала многочисленные художественно-поэтические побеги, они подточили постройку, и вот:

левое крыло село в сухую землю, не плодоносит чахлая лоза, обессилели персики (на них истлела кожа, закрутились стволы сухими деревянными жгутами), прохудился колодец, тайно соединившись неведомыми подземными ходами с вечными струями темного холодного Океана. Жаль, ведь когда-то —

когда-то, в раннюю пору моего набухающего бессмертия, здесь пировал веселый летучий табор. Вдосталь я тогда наковарствовала, дразня самого Пана, кружась меж пустоцветной молодежи, влюблялась походя, расходилась тоже, презирая и холя громкие имена. И персики плодоносили.

Ностальгия? как ты глуп, мой хитрец, как твой маленький ум осторожен — мне ли быть на поводу собственного прошлого! Пусть твои любимые мышки, твои

маленькие Пенелопы грызут черствые корочки своих былых грешков, или ты забыл — кто я, что решаешься ставить мне на вид мои же неосторожные воспоминания? Да что ты знаешь о разных днях и разных местностях, доморощенный географ, о путях комет и падающих звездах, о Стиксе, наконец, а я — я и с Аидом накоротке. Не одного постояльца моих островов перевез Харон на ту сторону: и того, широкоплечего, кто рубил до ночи дрова; и худенького шута с тоненькой-тоненькой дудочкой; невского фавна — поговаривали, за него я собиралась замуж; и четвертого, пославнее других, низкорослого, но brutального и нежного. На здешнем берегу остался пока лишь этот, непьющий, с накладными плечами, с лицом спившегося прораба, он сочинял песенки про мои любимые розы, про голых богинь и про карие вишни, как предпочитал называть мои лиловые, как у таксы, глаза (песенки эти и сейчас распевают по кабакам от Судака до Пирея).

Ты дрожишь? Не смотри на меня со страхом, разливай-ка нектар, дай твою щеку, что — тепла моя рука. (Неужели же у твоих смертных женщин руки теплее?). Помнишь хоть, как попал сюда (я не кормила тебя сладко-медвяным лотосом), как увернулся от жадной Сциллы, от вечно жаждущей Харибды, как избегнул поддаться пению наших сирен? В театральные гинекеи я быстро навела о тебе справки: честолюбив, небездарен, лазаешь по постелям своих моделей, якшаешься с педерастами, что нет, что нет, и, вполне возможно, скоро войдешь в моду. Надеюсь, в моей постели ты оказался не в результате кораблекрушения...

Пришел ко мне впервые — так гарцевал, покоритель мышинных сердечек, и я не подумала отнестись к тебе хоть на секунду всерьез (может быть, это и было моей первой ошибкой). Придирчиво осматривал интерьер, выбирая место для съемки, позволил себе заметить, что я, оказывается, небогато живу. Ах, эта самоуверенность нынешних репортеров, самодостаточность в неволе выведенных мотыльков, никогда не покидавших своей баночки, как суетны, как скоропалительны, как падки на внешнее, как коротки ваши крылышки и ваши умишки. Да знал бы ты, тщеславец, сколько золота просеялось сквозь эти пальцы, сколько золота, не посмел бы спросить (да еще с непозволительными okolичностями), есть ли у меня вечернее платье.

Что, привык посещать острова побогаче? Там, где ненароком оставляют распахнутыми створки платяного шкафа? Где разбрасывают перед сном драгоценности (знай же, наивец, их раскладывают загодя на туалетном столике, взяв напрокат у любовника или у подруги)? Успел поваляться на кроватях якобы Чипендейла (хотела бы я знать, наконец, что эти наяды с темпераментом холодильника *Морозко* делают с мужчинами в своих роскошных постелях?). Пойми, они всю жизнь собирали свое ломбардное счастье по крохам, в высокие кабинеты входя, сунув прежде трусы в сумочку, а я — не копила: легко брала, но и так же легко отдавала.

Помню, ты долго расставлял свое освещение, тщательно примеривался и — командовал мною, чем довел меня до смеха, но я подчинялась — забавы ради, хоть и плевать хотела на все парадные портреты, лишь трусов положение обязывает к осмотрительности, меня

оно обязывает лишь быть самой собой, пусть до сих пор узнают на улицах, хоть теперь я и редко снимаюсь. Сознайся, многого колдовства тебе не понадобилось, я и сейчас выгляжу словно двадцать лет назад, не так ли, и что первые снимки не удались — не моя вина, тени легли неудачно по твоей оплошности, и хоть я и непридирчива — пришлось повторить сеанс, твоя забота добиться качества, даже если бы на моем месте была не я, — на снимке положено достигнуть молодости, и с чего тебе пришло в голову, в тот вечер меня поцеловать?

Я была смущена, не отрицаюсь. Хоть и трудно меня смутить таким пустяком, как молодой красивый мужчина (хоть я и не превращаю мужчин в свиней, как некоторые, это слишком элементарный трюк для меня, а я, не скрою, тщеславна во всем, что касается волшебства)... Куда ты смотришь! Ах, это, это — моя служанка, сыриха, бойкая на доставание индийского чая, на добывание растворимого кофе, преподает, что ли, сольфеджио в местной музыкальной школе, фальшиво благоговееет перед столичными делателями искусств, пусть только посмеет и на тебя смотреть с наивным восхищением, меня-то ей не провести, я насквозь знаю эту породу, вижу ее блудливый глаз. Дай руку! Становится прохладно, бери нектар с собою, насидимся еще на террасе, тебе ведь долго здесь жить, отважный мой, в плену у твоей натуры (плюнь на прорицания), —

скажи, ты доволен, что я увезла тебя сюда?

Не сезон, ни хозяев ни отдыхающих, побудем вдвоем (хватит, развлекли столичную возлехудожественную публику нашей связью). Тебе будет хорошо, вот увидишь, сможешь и поработать, хоть ты и не падок на

пейзажи, как я вижу; посмотри мне в глаза, поверь — здесь и волос не упадет с твоей головы, ведь я — рядом. Ну, наливай, наливай, чокнемся еще раз, твое здоровье, мой мальчик, сядь удобнее, вот так, пусть свет падает на твое лицо. Расскажи, расскажи мне снова, как ты бегал на мои фильмы, на мои спектакли, дрог у служебного подъезда с букетом в руках (неужели ж не знал, что цветы положено при всех подавать на сцену?). Должно быть, тогда ты и помечтать не мог, что когда-нибудь будешь сидеть вот так, в моем гроте, со мною наедине, —

что ж тебя надоумило?

Слухи, да-да, слухи. Газетные интервью, фотографии в журналах, дешевые снимки в газетных киосках, но слухи прежде всего. Что ж, были поры — ими клубились обе столицы. А на гастролях в каком-нибудь богам забытом городишке, возвращаясь в номер под утро (что-то много мы гуляли тогда), я заставала свою постель заваленной цветами (оказывается, цветы цветут и на самых дальних окраинах)... В юности мы все бесшабашны, ты ж — уже взрослый, но и сейчас опрометчив, — можно ли, сам посуди, вот так безрассудно лететь на неведомый огонек, спешить на первое поманившее пламя, неужто не боишься опалиться? Неужели ж не знаешь, чем подчас приходится расплачиваться за подобное легкомысленное искусство? Слава — что слава, это наименьшая плата, а кровь — кровь нынче дешева. Нет, я не загадываю тебе загадок, а впрочем — и загадываю, но тебе не придется отправиться в Дельфы, я сама же и отвечу тебе на все.

Иди ко мне. Ну вот, а то были жесткими губы, теперь же — мягко целуешь. Ляг рядом, люблю, когда ты лежишь вот так, хорошо пахнет твоя кожа (пока еще хорошо), хочешь войти в меня? Мой остров — посреди Океана, только смелым доплыть до него, ты — один из немногих, кому удалось это безнаказанно (шоферы и телефонные мастера не в счет, разумеется). Вот долина (она еще может быть плодородной, да-да), вот река с тайной излучиной за купами деревьев у устья (она еще бывает полноводной), крепость же скорее для декорации, но тебе, я вижу, не нужен путеводитель. Скажи, что ты делаешь сейчас, повтори, я хочу, чтобы ты никогда не выходил из этого грота...

Не лежи молча. От этого твоего молчания мне делается не по себе. Болтай о чем-нибудь, расскажи забавное... Странно, я курила благовониями, а пахнет будто лекарством, горьким лекарством, ты не чувствуешь? Ответь, эта твоя пенелопа — все дожидается? Ты о ней ведь сейчас думаешь, я угадала? Я тоже ткачиха, хоть и не тку поневоле изо дня в день саван собственной верности; моя ткань хитрее и материя тоньше, почти невидима, как воздух, как сама пустота блаженства, — хочешь, и ты станешь бессмертен?

Что отвернулся, выпей еще, не беспокойся, это — не приворотное зелье (или не знаешь, как нынче вас, мужиков, берут ваши тихони, добавляя в борщи и в щи свои месячные крови). Что дышишь так беспокойно, виски уж седые, а все тоскуешь по дальним плаваниям? Остынь, суетливость тебе не пристала. Что тебе Океан, когда тебя Посейдон не любит; что твои спутники, коли они предали или погибли; что мужская дружба, что

честь,— вечно вы носитесь с миражами; что любовь, наконец, если верности больше нет! И где ты найдешь модель удачней, чем я,— ведь я богиня! (Неужели же лицо и фигура могут быть лучше у твоих любимых простушек?) А может быть, может быть — тебя смущает разница между нами?

Вот пустяк, глупый ты, глупый мальчик. Да разве ж я первая принимаю на ложе смертного мужа! Вот хоть Эос — у нее Орион-охотник; или взять Мироненку, она старше меня, а муж — тебе ровесник, врач-реаниматор; Деметра-богиня на поле, три раза вспаханном, отдалась Ясону, а у Черногуровой — ударник в оркестре, совсем юный, а она — Народная, и как друг друга любят. Или ты полагаешь, что раз уж бессмертие, то непременно и одиночество,— вот предрассудок. Да знаешь ли, скольких смертных и скольких богов я могу приворожить на смерть, стоит мне захотеть; да ведаешь ли, сколько мужчин за счастье почтут переступить мой порог, стоит лишь поманить. И кроме того — я могу быть полезна тебе, да-да.

В фотографии я кое-что смыслю (как и в кораблевождении), вижу, насколько ты одарен (всякий дар—от богов, значит — и ты ими отмечен, мы с тобою — похожи, мы как брат и сестра, недаром вокруг говорят, что — красивая пара). Стоит мне поднять трубку — все речные и все лесные нимфы будут портретироваться у тебя, ты прославишься, разбогатеешь, купишь машину, найдем тебе роскошную студию в центре (это — важно, капризные наши артистки пугаются при одном упоминании далекой твоей Итаки), а я — и не подумаю вмешиваться в твои дела, стоит тебе намекнуть, что хочешь

спокойно поработать,— меня и не услышишь, я не из тех, кто контролирует, опекает, пристаёт со своими заботами, не люблю держать мужчин в рабстве, как некоторые, для этого я сама слишком люблю свободу; и кроме того — я не ревнива, ты же знаешь. И вот еще что: много встречал ты напастей, много трудов перенес в море и в битвах (впрочем, ты не говоришь чересчур подробно про свою измученную душу, и я благодарна тебе), взрослый муж, а бываешь хуже младенца, честное слово. Нрав морского бога тебе неизвестен, простой своей сам навлекаешь на себя бури и штормы;

гордость — это мне понятно, но знаю и то, как обделывают свои делишки твои менее щепетильные коллеги; ты ж — чересчур прямодушен, хоть и мнишь себя хитроумным, я же всегда смогу помочь тебе добрым советом, да и связи кое-какие остались... Что ж ты молчишь, ответь мне хоть слово, не очень-то ты любезен, лежишь задом ко мне в моей же постели; но я — терпелива (знал бы нрав иных нимф — оценил бы), —

дай я тебя обниму сама, приподними свою голову — я подложу руку, что — удобно тебе, — и откуда эта тревога?

Слышишь, ветер, море беспокойно, осенью здесь по ночам ветра — они стихают лишь под утро. Днем нам будет снова тепло и ясно, до дождей еще далеко, а пока — прижмись-ка ко мне покрепче, ближе, ближе, этот ветер действует мне на нервы, и снотворное не помогает, а у тебя — живое мягкое тело, все дано — ум, красота, сила, талант (не много ли для одного, боги завистливы), но что это, что за влага на моей руке, —

да ты никак плачешь?!

Тебе плохо со мною, ответь? Или лесть моя чересчур для тебя сладка? Или любовь слишком требовательна? Да не запало ли тебе в голову, что я силою удерживаю тебя? Или ты попросту струсил? Боги, боги, где же нынче мужчины, или верно, что последние остались под стенами Илиона? Или ты и сам не ведаешь своего глупого пустого сердечка, мне же ты ясен — как плевок! Что, поспешишь сразу к ней, едва я тебя отпущу?

Мне всегда были по сердцу те, кто плывет прочь от дома. А попадались другие, кто на возвратном пути... Плот тебе снарядить? или сначала накапать валериановых капель? Что ж, ты отправишься, она оботрет твои слезки; накормит горячим супчиком; перед тем как улечься в постель — упрекнет, погрызет мягкими зубками — будет щекотно; а потом убаюкает на груди скучною своею скукою... Не боишься, что за время, что ты отсутствовал, женихи набежали? Или ты такой законченный простак, что способен принимать терпение за целомудрие!

Ах, как мы встрепенулись — ты к тому же ее и ревнуешь. Стой, куда ты, ложись, охота тебе обижаться на шутки. Полно, успеешь еще нашарить свои штаны, можешь остаться, я не сержусь на тебя, —
убирайся!

К морю пойдешь — сидеть одиноко на утесистом берегу? Станешь вздыхать, глядя на пустыню бесплодную волн? Насморк не подхвати! и забирай эти жалкие цветы, что мне нынче принес, — я не просила; и остатки вина, куда лазил ты своими губами, — вон его; и порт-

рет, что ты сделал с меня,— впрочем, я порву его своими руками, —

видишь, сколько клочков и обрывков, и ты не останавливаешь меня?..

Далеко не уйдет. А уйдет — не беда, вернется, не было еще смертного, кто не боялся бы моей мести. Ты еще пожалеешь, слышишь!

Лгут зеркала. Но и без них не обойтись. От бессонницы набрякли подглазья. Проступили возле ушей шрамы — от последней подтяжки. Даже шея (держалась дольше всего) — черепашня. И на руках эти мерзкие пигментные пятна. Прочь отражение! я-то знаю, что такое вечная юность! Эй, сюда, собери поскорее осколки, и опять нагишом, вот мерзавка, а если бы у меня были гости? Подбери свое вымя, ох, дождешься, найдешь в одно прекрасное утро на месте, которым ты так кичишься, одни песьи морды. Лучше мети! вон остался осколок под столом — и еще смеет отражать незакрашенные корни седых волос, а ведь только что красилась, трех дней не прошло. А обрывки не трогай, подбери и дай сюда! уходи... Но и внутри — пустота: заросли для меня тропинки в киприйские рощи; золото — прах, это я знаю давно, был бы лишний обол для Харона; с Аполлоном и Музами я тоже расквиталась и в ссоре. О, если б нашлись для меня боги на этом свете — я молилась бы...

Неужели же верно, что бессмертие — дар, который ни с кем не поделишь, иначе как бы он — смертный, нищий — отказался от всего, что одна я могу ему дать. Я принадлежала многим, я принадлежала всем, что верно, то верно, это уж со счетов не сбросишь,— но не

принадлежа никому. Может быть, этот — первый, за что я его и любила. Но и последний — за это я его ненавижу... Эй, сюда, одевайся, беги на берег, приведешь мне его во что бы то ни стало... Нет, постой, я раздумала, иди и ложись, позову, если будет надо...

Не новое для меня занятие — собирать по клочкам то, что сама и разрушила. Знаю — трещины остаются, но вот —

подол моего черного вечернего платья. Вот и складки видны, это — туловище прилегшей у моих ног на светлом паркете таксы, часть лица — золотится грим на щеке, это — волосы цвета темной соломы (помню, краска в тот раз легла удачно). Это краешек рекомье (остатки былой роскоши), а вот золотые разводы на моих поблекших обоях. Что ж, мальчик выдержал гамму, и на том спасибо, все — цвета осени, даже подпалины пса. Вероятней всего — это последний мой портрет на обложку, обманчиво нарядный (черный с золотом) в расхоже-меланхолическом вкусе. Завтра склею. Пройдет не так уж много лет, сгину я, сгинет сам портретист (зря поверил он мне, прорицания сбудутся, все до единого), а портрет останется (пусть аккуратно сложить не удастся), — последний портрет на фоне уходящего киммерийского лета. Все остальное — лишь летучий узор обрамления: море, осень, ленивые толстые чайки; чужой дом с верандой, откуда — вид на долину, пустая пашня, пересохшая река, чахлый виноградник, декорация генуэзской крепости; бараки, санаторий, глинобитные остатки татарского поселка на месте, где некогда обосновались греки.

10. ДВОЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

Фотограф по имени Соломон, жена фотографа, третье действующее лицо, кого тоже надо бы поименовать, по крайней мере, обозначить местоимением, Местоимение, —

поезд длинно втягивается и тоннель или длинно вытягивается из тоннеля (полотно однопутно, черный зев окружен кучами серых гортензий); по кромке моря, как в захолустном тире, перемещается пароход; дом с открытой верандой, прижатый железной дорогой к самому берегу (пол веранды черен и сыр от брызг); пар семь или восемь ног в волосах и штанах под деревянным столом, липким от пролитого шампанского (впрочем, соленые капли долетают и сюда), пара глянцевых от загара ног (и это, конечно, омоним) жены Соломона; шум прибора, дребезжанье стеклянной посуды, говор гостей,

— июнь.

Шипит и сочится полусладкое вино под белой пластмассовой пробкой — ее придерживает черная крепкая лапа. Вот бутылка наклонена, падает пена в бокалы, оперный брюнет поднимается говорить тост. Острое глянцевое колено касается светлых брюк, что сидят по левую руку, и поезд выныривает на свет божий по другую сторону живописной горы, на заливке которой среди цветущих магнолий (ядовитые лилии в дремучих ветвях) за шеренгами обшарпанных пальм сомнительно мексиканского происхождения перед северным флигелем бывшего княжеского дома небольшой сад с остро-

вом черепахи и островом журавля,, прислоненный к скале, —

декорация к Чио-Чио-Сан.

Сад японский. Князь грузинский. Жена фотографа белокура и тоща (даже при сжатых коленях пустой эллипс между персиковыми с исподу сухими ляжками), ее условия таковы: бы был всем неведом; лучше пусть будет молод, да-да, молод и не испорчен; красив — нет, это не обязательно, но не урод, так, недурен собой; и цивилизован, не дикарь какой-нибудь, не грузин, нет-нет, не грузин, грузины не поймут нас, Сосо, они будут тебя презирать, любой из них обойдется со мною грубо, они же полны предрассудков, даже те, кто умеет делать вид; и чтоб не был *противен*, —

задачи принцессы Турандот, лукавые условия царицы Тамары, но (с тоскливым азартом наблюдает Соломон) Местоимение, кажется, удовлетворяет им.

Он, я или ты лет двадцати шести. Мягкая борода, симпатичный взгляд. В движениях и речах застарелая юношеская застенчивая нагловатость. Мы молодой поэт или что-то в этом роде, вот наши вирши, записанные в строку без заглавных букв и знаков препинания натюр-морт был прост два яблока да увядшая кисть винограда и будь я художником я не заметил бы шпильку забытую тобой на столе, —

верлибр, не иначе.

В доме мы впервые. Ни с кем из присутствующих не знакомы, с хозяевами шапочно. Томимся долгим и медлительным мужским кавказским застольем, исхитряемся прихлебывать вино и помимо тостов, но быть чересчур внимательным к хозяйке, хоть она и светло-

кожа, хоть и не из здешних суровых изможденных жен в черных в жару чулках (почему, вероятно, и сидит за столом с мужчинами), хоть и хороша собой (пусть ей далеко за тридцать), побаиваемся. Ибо в этой восточной провинции, в чопорном, едва ли не мусульманском городишке на самом краю империи свой этикет и ненарушимы, говорят бывалые люди, законы гостеприимства. Ибо приятели фотографа одинаково безлично почтительны с ней (никакой игривости, вплоть до надменности), —

и Местоимение с простодушием интуриста принимает касания ее ноги за чистой воды случайность.

Наши сведения об этой паре тоже случайны вполне. Они — приморские знакомые знакомых наших знакомых, и, оказавшись в этих краях и набрав их номер лишь для очистки совести, мы приятно поражены почти легендарной радостью, с какой приняты и приглашены, —

традиционное кавказское радушие, должно быть; джигитовка, витязь в тигровой шкуре, на холмах Грузии лежит ночная мгла женские шахматы ансамбль девочек Мзиури, хевсурская баллада сурамская крепость сиропы Логидзе пейзаж Пиросмани Напареули и Цинандали, —

но и сквозь тройное сито просочилось к нам, что брак этот, по всей вероятности, существовал всегда (не что вроде союза сиамских близнецов), с незапамятного дня соединения они неразлучны, плодом чего стали двое, что ли, детей, что они милы, вот только она держится всегда в густой теин мужа, немая и стертая, как недопроявленный фотоснимок, вольно ж ему быть в

семье таким деспотом, ведь известный и своей области человек... Тут, несмотря на предосторожности, наш взгляд переkreщивается со взглядом хозяйки, И ничего не остается, как вести разговор о влажном климате, нехватке продовольствия и детях. Выясняется, что старший Сын четырнадцати лет отправлен в летний трудовой лагерь, младшая дочь десяти сослана к бабушке в одну из северных областей, —

и таким образом дети изъяты из нынешней июньской картины. Опустим три-четыре тоста и перейдем к вечернему пейзажу, отметив лишь, что после этого невинного собеседования Соломон особенно внимателен к Местоимению, но это в скобках:

на фоне закатного Черного моря вдоль берега бережно под локоток ведет хозяин гостя прочь от выпитого стола (предлогом служит указать кратчайший якобы путь к постоялому двору), не выпуская из рук даже при перепрыгивании с камня на камень. После нескольких случайных фраз фотограф останавливается в непонятном для нас волнении. Он медлит, мямлит, он топчется, его смущение может породить бог весть какие подозрения (вялый, крупного размера неврастеник с редкими волосами и отвислостями в грудях и боках, таким он представляется нам). Когда он произносит наконец свое предложение, собачьи глаза его сыреют от неясного страха. Приходите завтра, говорит он, громко сглатывая, часов в двенадцать, у нас никого не будет. Они сговариваются, Соломон машет рукой на прощание, грузинский акцент звучит в вечернем воздухе, —

наступает ночь. Но и безлунный мрак радует глаз, когда друг мимо друга носятся бесчисленные светлячки,

читаем мы у фрейлины Сэй-Сенагон. Под утро выпадает роса. В лучах восходящего солнца блестят спина черепахи и спина журавля. Мадам Баттерфляй со стершейся пылью на крылышках в этот час в саду и одна. Похоже, она готова вернуться к своим кумирам, которым изменила однажды. Однако предстоит еще одно действие, ибо — мы намерены прийти точно к назначенному часу. У нас было время перед сном припомнить вчерашние укромные касания, смущение во взглядах, чрезмерно торопливые пояснения, убедиться, что недопроявленная блондинка лишь призрачное прикрытие для заветных наклонностей мужа, а утром пролистать за завтраком свежую прессу. Преисполненные решимости пойти навстречу этому восточному приключению, оказаться хитрее самой наивосточной хитрости, ближе к полудню, не колеблясь, минуем мы седые гортензии, гравийную дорожку к крыльцу и самое крыльцо. Рука занесена, сейчас раздастся звонок, —

и занавес раздвигается. Дверь открывается одновременно. Сосо ушел за газетами, говорит хозяйка вместо приветствия и с полнейшим равнодушием, чем тут же выдает себя с головой. Местоимение (с улыбкой). Добрый день, вам к лицу это платье. Она (не предлагая сесть). Мы пригласили вас... я и Сосо... мы хотели бы поговорить с вами. (Местоимение. Весь внимание.) Мы решили... Соломон и, я... вы же знаете, мой муж — фотограф... (Да, госпожа) известный фотограф... и вот, вы могли бы сделать нам одолжение (К вашим услугам, мадам)... одним словом, нам недостает натуры... поймите, мы живем на периферии, на некоторые вещи на наших островах никак не установится трезвый европей-

ский взгляд... последнее обстоятельство... (говорит она прерывисто, ведь ручка ее давно в наших ладонях) последнее обстоятельство и вынуждает меня от имени мужа просить вас... просить вас, впрочем, Соломон сейчас вернется, покажет свои работы вам будет легче понять, но мы обнимаем уже ее талию. Выясняется, она отчаяннейшим образом дрожит, что не совсем ей по возрасту. После длинного поцелуя ноги отказываются ей повиноваться. Приходится все-таки присесть, входит Соломон, он тоже взволнован, по его растерянной улыбке ясно, что он подслушивал, взвалив на плечи жены вступительную часть, а ни за какими газетами не ходил. Жаль, т. к. именно этой ночью индийские пограничники пристрелили еще десяток сикхских сепаратистов, пытавшихся проникнуть на территорию дружественной нам республики; хозяин Белого дома выдвинул неприемлемые условия в ответ на наши мирные инициативы; министр иностранных дел Великобритании остался в прискорбном одиночестве по вопросу об экономических санкциях против недружественного режима апартеида; в Москву по пути следования к местам отдыха прибыл секретарь монгольской компартии, заверив встречавших в дружественных чувствах; *Женьминь жибао* в который раз в передовой статье предупредила, что демократию нельзя пускать на самотек, а советские писатели с болью и радостью откликнулись на призыв партии писать еще более мужественно с учетом дружеских пожеланий прошедшего пленума, —

но ничего этого Соломон так и не узнал. Пока его жена накрывает маленький стол в углу большой гостиной, он дружественно демонстрирует Местоимению

свои последние работы. На каждом снимке печать флегматического характера. Вот морщинистая старушенция кормит на булыжниках старого города разжиревших ленивых голубей, вот старец улыбается беззубо за столиком уличного кафе над чашкой одинокого кофе, другой безнадежно ожидает клиентов возле убогой лавчонки по пошиву дамских туфель. Следующий снимок останавливает внимание Местоимения: еще один старик слезящимися глазами смотрит в морскую даль, сидя обок переносной витринки с образцами его тоскливо-оптимистической продукции (бледно-желтые дети, плохо отретушированные, на фоне бледно-зеленых волн в порядке очереди принудительно улыбаются в принадлежащем фотографу сомбреро). Мы вертим снимок и так и эдак, в слезящемся старике узнавая самого Соломона. В его глазах читается предчувствие судьбы. Теперь другая серия, говорит маэстро с глухим акцентом, веером выбрасывая под нос Местоимению десяток глянцевого ню.

На каждом определенно жена фотографа, хоть светлые волосы и прикрывают лицо. Здесь и там щуплые линии ее тела, худых бедер и крошки зада продолжают узоры песка, оставленные утренним бризом. На одном из снимков лобок женщины начисто выбрит. Невольно представляем: большой всклокоченный Соломон, дрожа от нежности и жалости, безопасной бритвой «жилетт» бреет низ плоского живота своей маленькой подруги, готовя ее к очередному аборту, —

но тут хозяйка зовет к столу. За вином разговоры об искусстве кино и об искусстве фотографии, демонстрируется чехословацкий фотожурнал с двумя работами

мастера (два ню из известной нам серии, оба небритые), после чего беседа плавно скользит в интересующем всех троих направлении. Признаемся, Местоимение пребывает в известной растерянности. Мы плутаем в трех соснах: фотограф, его жена, его муза. От своих подозрений мы готовы отказаться, свою симпатию к женщине готовы перестать скрывать, но поведение хозяев то и дело сбивает со следа: а что, если и впрямь встреча посвящена исключительно фотоискусству? Впрочем, хозяева так неловки, что в воздухе жаркой гостиной появляется привкус первого свидания. Наконец, плотно зашторены окна, по углам мягкого ковра установлены осветительные приборы, гут же и японская камера на штативе, —

и жена фотографа расстегивает платье. Местоимение следует ее примеру. Оба обнажены, но первые кадры вполне невинны. Он и она, слегка обнявшись, стоят друг подле друга, он заглядывает ей в глаза. Потом мы берем ладонью ее грудь. Соломон просит, чтобы был виден сосок (возьми-ка снизу, уверенней, в ваших позах, дорогие, должны быть нежность и страсть), затем оба присели на ковер, ее голова у нас на коленях (светлые волосы щекочут промежности), кажется, она рассказывает ему, как провела каникулы, —

ах, нагая, она и впрямь очень моложава.

Потом мы ложимся на спину. Жена фотографа склоняется над Местоимением, прикрывая руками маленькие груди. Ногти тщательно ухожены, но в мерцании темного лака нам мерещится коварство. Еще несколько кадров в том же роде. Волнуется и маэстро (испарина на бледном лице, ненужная торопливость в об-

ращении с импортной аппаратурой, дрожание волосатых рук). Теперь на спине она. Нам велено целовать ее плечи и грудь, быть смелее, забудь же, что фотограф здесь, вы вдвоем, вы хотите друг друга, так, хорошо, но остановитесь, минуточку снимаю еще раз погладь его запрокинь голову (и сам дрожащими пальцами поправляет светлую прядь) снимаю Боже расслабь же ноги, —

но кончается пленка. Соломон, извинившись, уходит, выключив свет и прикрыв за собою дверь. Мужчина и женщина, торопясь, задыхаясь, соединяются на ковре. Пол качается и дрожит под ними, что понятно, —

длинный поезд то ли вошел, то ли вышел из тоннеля, вход в который опушен кустами цветущих гортензий; море, откатившись, ударяет набухшей волной в невысокую скалу, на которой поставлен дом, и дрожат они сами, потому что хотят друг друга. Попроси его выйти, шепчет женщина, я не могу при нем.

Только тут мы замечаем в потемках присутствие Соломона. Он сидит за столиком, с трудом уместившись в кресле, отрешенно закинув голову и прикрыв глаза. Я не могу при нем, шепчет она. Меня нет здесь, тихо и печально отвечает муж (голос то и дело ныряет в сумерки), и я не мешаю вам. Скажу только — вы поторопились, детки. Я прекращаю сеанс, потому что в вас уж не будет самого первого желания. Вы больше не годитесь позировать... Голая пара слушает, присмирив на ковре (опечаленный учитель, нашалившие дети). Соломон снимает со штатива камеру, собирает причиндалы своего ремесла, выходит, сутулясь. Ты, я или он — мы ласкаем притаившуюся под нами женщину, но она безучастна. Ее кожа делается прохладна. Мы принимаемся

мять и тискать ее тело, входим глубже, не боясь причинить боль, —

она податлива. Она запрокидывает голову, закусывает губу, но так и не вскрикивает ни разу. Покорно приняв в себя наше семя, дождавшись неподвижно, пока последняя наша дрожь унята, она потихоньку высвобождается, осторожно, чтоб не запачкать ковер. Что ж, окропив ее лоно, мы можем взглянуть на дело более отстраненно. Итак, чужая гостиная, незнакомая мебель, за стеклом серванта многотомник Гайдара или Марка Твена, в занавешенном окне брезжит душный дневной зной. Немолодая женщина сидит рядом на жестком ковре по-турецки (на голой спине отпечатан восточный орнамент). Она держит в руке бокал кислого дешевого вина и слабо улыбается, глядя в стену (нос с горбинкой, глаза чисты и спокойны, волосы подкрашены перекистью водорода, мешочки грудей курносо свисают). Напротив в кресле нахохлившейся темной грудой одетый мужчина, ее муж, вторично материализовавшийся. Это было, настаивает он брюзгливо, это было, я видел и слышал. Потом что-то по-грузински, потом опять: это было. Это было, Сосо, произносит, наконец, она, ты хотел этого, —

и это было.

Выходя от них, Местоимение отдает себе отчет, что при известной пикантности все происшедшее все же так досадное и отчаянно нелепое приключение. Тем более, что при прощании пришлось выслушать, как супруги любят друг друга, как за всю жизнь ни на минуту не расставались, как едва Соломон покинул ее однажды по служебному поводу, она тут же ринулась за ним сле-

дом, а также дать страшную кавказскую клятву, что ни при каких обстоятельствах о случившемся никто никогда не узнает. Нам достает юмора увидеть во всем и комическую сторону, но, шагая восвояси кратким путем, что указал хозяин, мы представляем-таки себе вчерашних застольных молодцев верхами и с шашками наголо. Кони горячи. Впереди других Соломон в бурке и высокой черкесской шапке. Кажется, он грозит волосатым указательным пальцем, —

и все опускается на дно неглубокой памяти, ибо мы, если вы помните, молодой поэт, нам никак невозможно отказаться от путешествия, приключения и бокала вина (профилактика молодого вдохновения), так что натюрморт был прост, Соломон, два яблока да увядшая кисть...

Слякотной московской осенью мы получаем открытое письмо с бестактными пожеланиями в честь праздника Великого Октября. В негодовании от провинциальных замашек корреспондентов, мы отвечаем, мол, рады, что супруги живы-здоровы, пожимаем крепко мужественную руку Соломона и просим расцеловать очаровательную половину. Вскоре приходит другое письмо. Разворачиваем, читаем:

«Прости меня, — читаем мы, — но я обращаюсь к тебе потому, что нет больше человека, кому я могу рассказать, как мне тяжело». Местоимению промолчать бы, но мы испытываем чувство самодовольства. Как ни крути, но постыдно служить искусственным пенисом для убления пресытившихся друг другом супругов. Так же выходит, что нам удалось проявить известный мужской шарм, оставить послевокусие, как говорят ви-

ноделы. И вот мы пишем длинное галантное письмо в духе старинных эпистолярй, благо сноситься с дамами не приходится иначе как по телефону. Результат, однако, должен бы заставить задуматься. «Единственный мой, — получаем в ответ мы (и мыслимо это только в российской опере), — ты добр, и ясен, и чист, а я недостойна тебя, я знаю. Но выслушай: у меня было лишь двое мужчин за всю жизнь — ты и он. А кажется — ты был один». И дальше: «Соломон стал ужасен, ужасен. Похоже, он болен, он — в депрессии. Он никогда не был ревнивцем, но теперь я боюсь оставаться с ним наедине. Видел бы ты его глаза».

«Он тогда же сделал отпечатки, — читаем в следующем послании, — и, запершись ото всех, часами рассматривает их. Я боюсь за него, он может сойти с ума. Но и жалости во мне нет, лишь ожесточение, я люблю, люблю тебя, только о тебе могу думать и мечтать, а он мне п р о т и в е н». И в другом месте: «Кажется, жизнь прожила зря, не зная, что ты есть на свете. Что ж, теперь у меня нет будущего, я как мотылек, с крыльев которого стерли пыльцу. Я разучилась летать, но — прости, прости мне эту болтовню, тебе неприятно слушать?»

«Иногда я думаю о детях, — писала она нам, — и мне становится холодно, кажется, я не люблю их, как не люблю Соломона. Все чужое вокруг, и только твое лицо я хотела бы видеть». И, наконец: «Вчера он ударил меня. Мне стыдно писать, как я жила все это время. Сына я пока оставляю здесь, а мы с Китино уезжаем на север к маме. Буду проездом в Москве. О, если бы я могла хоть

на секунду взглянуть в твои глаза. Я была бы счастлива...»

Ты, он или я — мы отвечали на эти письма, верно. Ее письма становились горячей, наши суше. Но мы отвечали, посылая конверты по конспиративному адресу, ею предложенному. К чему мы это делали? Рука тянулась к перу, перо к бумаге... Извещение о прибытии окончательно охладило Местоимение. К тому ж — телефонный звонок, провинциальный выговор, какого не заметил, лежа на ковре в гостиной. Ответ был неопределенен, а в день ее предполагаемого приезда мы отбыли в поэтическую командировку с чтением вольных стихов перед энергетиками Малороссии, —

и вот последние такты, финальные строки либретто. Поезд, длинно вытянувшись из тоннеля, пошел на север поперек страны. В стране мело. В Самтредиа прицепили вагон, в котором на всероссийский конкурс детской песни ехал ансамбль *Мзиури*, победитель зональных состязаний. Черепашка ползет по земле, журавлик летает по небу, пели девочки-интернационастки японскую песенку на грузинском языке, червячок обернется бабочкой, и наступит весна. В соседнем вагоне ехала девочка Китино к бабушке в одну из северных областей России. С ней ехала мама, в Москве их никто не встретил. Поезд пошел дальше, —

и растворился в длинной полярной ночи. Годом позже Соломон написал Местоимению отчаянно неграмотное письмо. «Я не выдержал, слушай, и пишу тебе, без нее я погиб, но я сам виноват. Я хотел убедиться, потому снимал, это грех, и теперь одни негативы, а ее больше нет. Но ты тоже честный, только зря ты писал ей

эти письма. Но я тебя не виню, я виню себя. Она писала тебе, скрывала от меня, но если ты ее не любил, пришли мне письма назад. А если любил, оставь. Извини за ашипки. Соломон». Это письмо было оставлено без ответа.

С тех пор мы обрели вполне заурядное имя в так называемых литературных кругах, женились, в писательском союзе местоимением стало больше, а бедняга Соломон, должно быть, опустился, спился, хоть грузины и редко спиваются, стал фотографом на пляже или в ботаническом саду. Крупные группы туристов снимаются здесь на фоне унылого пруда с двумя камнями посредине — одним плоским, разлапистым, другим востреньким, с отечной макушкой. К их услугам в качестве фона и водопад на скале. Вряд ли князь-грузин знал, как водопад называется по-японски, мы же приведем его имя — *нуно-оти* — падающий, как полотно.

11. НАРУШЕНИЯ В ПЕЙЗАЖЕ

Тополь (гусиное перо, видится в контражуре) смутное поле (отсвечивает роса) три горизонтали — чернильной воды в реке, отдельной полосы тумана, противоположного коренного берега, покрытого густым орешником: спуск затвора, перевод кадра, шорох внутри камеры. Чуть левее — поле неясная река (крона касается края рамки) три пятна белой будки белого баке на белой створы на плесе: спуск затвора, перевод рычага. Духовая музыка с утра играет в деревне (двести дворов, кто-нибудь мог умереть). Повернуть назад — тополь сад проблики беленой стены, голубоватые в рас-

сеянном свете: затвор мелкий дождь музыка слышится глуше. Нужно бы жить не в доме — в шалаше, под гривой вишневого дерева (сад запущен и птицы сыты, ягоды не склеваны) на краю виноградника поздней лисьей лозы по женскому имени остерегаться, неся от колодца полные ведра, наступить на скатившуюся к ногам перезрелую дыню (расползается без хруста утробно сочится мякоть пачкает траву семенной клубок — жухлые нити вялые ткани — съезжает набок, слизистый душный), — хозяйка не позволит. Постелила в парадной гостиной (рябь в глазах от ковровых узоров), поставила на пол теплый таз, держала на руках крахмальное полотенце, пока мыл ноги, комкала бахрому в маленьком кулаке; лишь во вторую ночь разрешила перейти на заднюю веранду (серые обои кукла цветной карандаш) ближе к саду, набрякшему и томящемуся. Сад — стыд хозяйки; хоть и приглашает деревенскую родню, нанимает работников прополоть огород, полить помидоры персики, собрать урожай под грецким деревом, зарезать визгливого и вонючего борова, опалить тушу на соломе перед воротами, окатить колодезною водой рассохлые бочки, чтоб набухли доски, крепче сели ржавые обручи — до сада руки не доходят, гость сам собирал вишни себе на вареники, —

нечаянный гость, плодоносящий сад.

Дом богатый со своим колодцем с двумя антеннами над крышей с приезжающим из райцентра (только днем) на пегом от грязи автомобиле скажем доктором местной больницы или руководителем хора, и здесь к месту представить год назад похороненного мужа немногим старше ее, но опирающегося на палку язвенни-

ка или там чахоточного бывшего хозяина, ковыляющего от клеток с кроликами к курятнику, тускло взглядывающего на белую и слишком длинную для коротконогой фигуры шею, которая делает и всю фигуру как бы полуодетой. Он шаркает кишечник печень селезенка не справляются с работой разбрасывающая пшено рука дрожит. Он горбится не хочет замечать увитую веселым виноградом беседку для гостей, —

хозяйка гостеприимна. Фотограф скрылся у нее по случайному знакомству (проезжал со своей бледенькой женой по этим местам прошлым летом, торговал у хозяйки орехи), но приняла как жданного гостя, и вот:

не видят соседки докторских «Жигулей», но — одинокую фигуру в беседке, но — цветы на столе, хоть и не именины, но (удавалось подглядеть) — холодец из гусиных ножек, домашнюю колбасу, инкрустированную по густо обведенному салом срезу, но — дымящуюся в чугуне мамалыгу к жаркому, пряный машдей с холодной рыбой, соленья к терпкой самогонной водке, приправленной для вкуса и запаха белым кубинским ромом, но нынешней уже осени молодое красное вино в широкогорлых кувшинах. Застольные рассказы округлы, как сама симметрическая жизнь с двумя мужьями двумя дочерьми (оба в могиле, обе в городе), но слушает ли гость — не понять, щурит глаза тербит салфетку покорно съедает обед вдвое больше, чем хочет и может съесть, тянет вино из высокого стекла (или по рассеянности не замечает, что живет с одинокой вдовой под одной крышей, что рубашки всегда стираны) по утрам рассматривает свет от солнца из косых щелей мужчина молодой одет чисто приехал на машине со столичным

номером подарки подарил (все нужное) идет по деревне держится достойно, она невзначай присела на краешек спросил без приязни — пора ли вставать, смутилась подхватила шпильку подол порхнул икры полные густая грудь стиснута под кофтой пальцы мелкие чистый лоб (нет-нет, потом и будет вот так входить бесцеремонно), —

спуск затвора, перевод кадра.

Целые дни щелкает Фотограф камерой (на девок не смотрит с мужиками не заговаривает со стариками здоровается вежливо) она объясняла, что за это получает деньги (сама плохо верила) ей фотографироваться не предлагает, и хозяйка смирилась бы, коли заглядывается на мутную воду в реке неприбранный стыдный сад, если б не сплетня (злы люди, испорчены языки), будто на том берегу у соргового поля снимал перевозчицу Нади убогое лицо с беззубым ртом (даром что двумя годами младше) две бордовые щеки глаза с детским страшноватым свечением — оскорбительная причуда. Одним веслом боролась Нади с течением, забросила юбку выше колен, кокетничая в лодчонке на возвратном пути (поняла, что нравится), Фотограф смотрел с волнением на искореженные пальцы босых больших ног темные колени сохлые ляжки, с отвращением вдыхал запах напитанной ее одежды, дал ей за все на вино. Она уносила деньги по кособору, пряча на груди, как детеныша. Перед вечером видел ее еще раз (имя городской проститутки) в пыли красноватой улицы: мимо скрипя проплывали запряженные парами арбы проезжали мотоциклисты, она сидела закинув голову закрыв грудь черными руками пела со спокойным лицом, нико-

го не узнавая. Хозяйка поджидала у плетня, сутулилась (выбрал такую-то). Фотограф решил легкомысленно, что индульгенцию завтра же выменяет на шоколад (ах, эта паутина гостеприимства, но иначе здесь не устроишься, кроме водки и шоколада в магазине ничего нет) от ужина отказался внимания не обратил на затаенный гнев в углах губ. Утром разглядывал теплый свет от щелей веранды (печальная привычка вполне счастливого человека) вспоминал тощий штакетник сырой ограды клочок старой травы бледную пустоту в северных соснах над песчаной осыпью (автомобиль аппаратура пара джинсов, все что оставил себе) заметил воровку. Положим, Фотограф заметил ее посреди сада (узкая ситцевая спина продолжение бедра — ивовая корзина кисть оставленной свободной руки перпендикулярна локтевому суставу), но лица разглядеть не мог, сад еще не терял листву, и воровка лишь промелькнула за бесформенной смородинных кустов (ветви темного кобальта пепельная роса поблики голубоватого ситца), и есть одна лазейка рассмотреть и завтра узнать ее — неширокий прогал обок смородины (виноградник вдвинут в него краем), при достаточной глубине резкости можно отчетливо захватить и кусты и стволы яблонь и сходящиеся в перспективе виноградные ряды (даже крестообразные подпорки) и ее, остро взмахивающую длинными садовыми ножницами, то сгибающуюся то прирастающую на цыпочки (пятка поднимается — щиколотки стройнее и выше кривоватые ноги) до того, как она исчезнет, —

ибо она исчезла. Он вышел на крыльцо, она еще виднелась (дальним концом виноградник задирался

вверх), но прикрытый салфеткой завтрак ждал на столе в беседке, откуда был вид на хозяйский цветник, могучую георгинную рощу и на отдельный колодец, украшенный на коньке (рукоделие покойного мужа) аляповатым петухом. Позавтракав, Фотограф застал за домом других работниц с теми же корзинами с теми же ножницами двух парней по пояс голых с потной черной порослью на грубой груди, сваливавших гроздь из женских корзин в тяжелую двуручную и носивших урожай на двор к давилльне, где уже громоздилась сладкая кровотоющая куча, полная мух. Выемки под яблоками колен ворожки блестели от пота, но, разумеется, это слишком общая примета, как и грудь, стянутая на взгляд Фотографа лишним лифчиком, как и линия плоского живота, своим окончанием указывающая место лобка, как и банальный ситец платья (в том, что было именно платье, не юбка с блузкой, тоже нельзя быть уверенным) как и непокрытая темная голова, коротко стриженная. Тем более что на другой день на ней была повязана по самые глаза косынка (лицо загорелое, маленькое), а голые ноги (подол высоко подоткнут) перепачканы глиной, серые разводы на икрах, солома на коротких блестящих ляжках. С другими бабами месила глину у недостроенного дома, жилистые мужики таскали саман на носилках забрасывали вилами на чердак, красношейный парень работал среди других, а девка, которую Фотограф принял за невесту, беременная и рябая, помогала старухам располагать на кошмах, постеленных на траве, угощение. Дело шло к концу, граненые стаканы были расставлены, толстые ломти сала оплавившись на солнце. Беременная вынесла глиняный кувшин (пот заливал

глаза, но утереть распаренное лицо не могла), красное вино (женское имя, лисий вкус) текло через край по лакированному боку капало нам юбку, расплываясь по вздутному животу. Воровка месила, задрав подбородок (треугольник бледной кожи над кадыком-коготком), здесь же стояла бурая деревенская церковь (ради нее пришел Фотограф) с зачеркнутой косой ржавой полосой тяжелой обитой железом дверью. На замшелой паперти сидел бывший церковный староста (поп проворовался, храм бездействовал) в полосатой двойке, несмотря на жару, в темной широкой шляпе. Тайно он служил на дому крестил отпевал лечил травами снимал сглаз, заметив фотоаппарат, вскочил на ноги, сдернул шляпу, поклонился незнакомцу раз и другой, блестя исподлобья глазами (ненатуральные поклоны, шарлатанская предупредительность). Мужики уж бросили работу, воровка месила глину босыми ногами, закинув голову и глядя на крыши, возле которых низко у карнизов вились ласточки, предвещающая нынешний мелкий дождь, но она была не похожа на ту, что собирала виноград, как не похожа на нее та, которую он встретил возле чужого колодца. Сильной короткой рукой воровка вращала неподатливый ворот, но притворно натужилась при приближении незнакомца. Ведро гулко ткнулось в мягкий подгнивший сруб, вода сплеснула несколько секунд цокала глубоко внизу. Он перехватил ручку (мгновение они видели лица друг друга в колеблющемся глянце воды), подтянул ведро, поставил на землю. У нее во рту был леденец, она перемещала его от щеки к щеке, пока говорили, иногда вытягивая и морща потресканные губы. Мелкие дождевые капли осыпали их лица, где-то игра-

ла музыка (медный духовой оркестр), в паузах, будто выбивали ковер, хукал кожаный барабан. «У нанашей во дворе играют», сказала воровка (леденец промелькнул между губами), и неведомые эти нанаша представились Фотографу на миг зловещими какими-то пузырями земли. Впрочем, оказалось, играют не на похоронах — на свадьбе. Она упомянула еще, что живет в городе, здесь гостит у матери; перед тем как взять ведро, сплюнула конфетку на ладошку, помедлила, положила обсосыш на сырой колодезный венец. Цепко взялась за алюминиевую дужку, пошла, подергивая попку, приподнимая свободной рукой подол платья (все тот же бойкий ситец), но колени были не те, острые и худые, хоть запястье напряжено и изогнуто так же, как когда несла корзину через сад, —

тополь шалаш (чей-то огарок за ивовой стрехой) медная музыка, хозяйка Фотограф воровка, — все, что понадобится, пожалуй.

У ворот застиг пегие «Жигули»; руководителя хора — в беседке за обильным завтраком (губы хозяйки сложены сдобно). Полненькие коротковатые руки порхали, подавая то, подвигая это, Фотограф стал свидетелем особой предупредительности, адресованной не ему (ему — прохлада). Познакомились (Иван Константинович). Удивленно жевал парился в чинном пиджаке две залысины краснели, но разговор коснулся нынешних беспорядков, и с удовольствием подтвердил, обгладывая индюшачью ногу: беспорядки имеются. Воскресным днем на ярмарке снова задержали карманников, больные сильно выпивают, занимая койко-дни в больнице. Хозяйка напомнила, что беспечных приезжих

грабят возле турбазы насилуют в кустах берите-берите накладывайте уголовных много развелось кушайте — не стесняйтесь даже на селе, к примеру — уехала в город семнадцати лет связалась с ворами села в тюрьму за квартирную кражу огурчики попробуйте вернулась к матери с дитем на руках: муж у ней в городе да нет у ней никакого мужа нагуляла с блатными ребеночка в совхоз не идет нанимается к хозяевам есть ли у нее документы. «А как ваши дочки в городе поживают?» — спросил Иван Константинович некстати. Фотограф лежал на постели поверх одеяла (сумка с фотоаппаратурой рядом на табурете), когда машина доктора завелась и отъехала. Хозяйка вошла без стука, принялась искать в платяном шкафу, стоя к нему спиной. Поза женщины, разбирающей белье: томительные движения плеч и локтей и спины (пахнущее теплом домашнее добро какая-то яркая вышивка какой-то снежный тюль или шифон случайная старая детская вещь), —

повернулась, разрушив композицию держа на руках ненужную тряпицу, рассмеялась деланно (сильный запах нафталина, и тряпица свесилась, Фотограф сел на постели): у самого двое детей, младший в седьмой класс ходит, тоже вдовец, говорит хозяйство в четыре руки поднимем, слава богу сама еще справляешься зачем чужому носки стирать на свадьбу-то пойдете со мной, на свадьбу надо, чтобы парюю.

Размесил дождь глину на деревенских улицах проваливаются вязнут парадные туфли уходят в грязь начищенные выходные башмаки, но выше все свежее глаженое чистое — ожидают молодожены, стоя обруч на крыльце нашей, посаженных родителей, самых до-

рогих гостей. Утром вылезли уже расписанные в районном загсе из украшенной цветными лентами шарами целлулоидным пупсом на радиаторе машины, теперь принимают поздравления (едкая помада на щеке невесты подвенечное платье до полу жениховский черный костюм две золотые коронки — жених цыганист). Оркестр охрип под дождем, блестит медь от воды, музыканты вытирают ладони, но в очередной раз нанаш поднял руки, музыка забила загудела, новая пара гостей входит в ворота с подарком, схваченным ярким бантом. Невеста стоит с откинутой с лица фатой статная широкая в бедрах кажется старше жениха пышной зрелостью слабо и медленно улыбается, скрывая зубы, молодой же деревянен теревит в руке края подвенечного стыдливого газа, надувает желваки на смуглых бритых щеках. Чередуются приветствия чмокают умиленные губы скоромно цокают языки скользят нескромные взгляды по невестиному животу дрожат в ушах золотые серьги толстые руки подпирают груди под красными кофтами перетаптываются ноги в жмущей обуви облегают телеса зеленый синий кримплен цветастый дефицитный шелк плывут арабские духи с красной москвой, и в сотый раз размешивают ногами грязь кухонные девки и тетки, на столе перед домом расставлена закуска под последний пропой, и клюют внизу серые скучные куры. Последняя пара званных отступилась от новобрачных, подобрались женщины и одернулись мужики, глотнула воздуха хозяйка рядом с Фотографом, нанашка пронзительно позвала за стол (дождевые капли в глиняных тарелках и в глиняных кружках и в граненых стопках и в складках целлофана, которым прикрыт хлеб). Из дома побежали

распаренные бабы в разъезжающемся на груди гипюре, понесли широкие тазы с дымящейся говядиной картошкой голубцами в виноградных листьях, забулькал в графинах самогон, стали говорить тосты. Пили за молодых (цыган скалился не выпускал конец невестинной фаты, она же прикрывала глаза клонила голову набок для обязательных поцелуев) за родителей за мир за партию, и с заборов и с деревьев из-за хозяйственных построек сараев и хлевов смотрели лица подростков и лица детей, и наряженные с голыми руками девки сбились у ворот вороватой стаей. Плывет сивушный и мясной дух тянется застолье нетрезвая уже музыка ударяет по недосмотру на полуслове, когда очередным гостем сказано, про жемчужину, но не договорено про оправу, от самогона першит мутит от вида разваленных мясных залежей, хозяйка подсматривает за ним — и Фотограф бодро подливает им обоим вина. Пусть не смотрят на них явно, она-то знает, как едят их глазами, едва отвернутся, да только нет в том греха, что пришла с городским гостем, будто с законной парюю, раз вдовья постель остается прохладной с ночи и не приходится вскакивать разгоряченной присесть над тазом, поливая кипяченой водой из баночки, не для кого нести смоченную в тепленьком тряпочку для обтирания, Фотограф же жует с усердием, за столом сидит прочно даже в том, как верхнюю пуговицу расстегнул — повадка, руки как у мужика от запястья широкие покрыты волосами вены пучатся, значит, сильные, не обратил внимания на кофту, что впервые надела, побрызгала под мышками из железного баллончика, теперь беспокоится за новую хорошую вещь, хоть и написано, что ткань не портит. И

даже ростом показался Фотограф выше, когда вставляли из-за нанашиного стола, оставив еще водку в графинах и недопитым вино; пошло движение среди тех кто стоял у ворот, зажглась над крыльцом электрическая лампочка, хоть едва начало смеркаться, и в этом ненужном искусственном свете было что-то казенное; молодые исчезли в доме, гости заперминались зашушукались, стоя в ожидании группами, говорили о своем, будто забыв о свадьбе но и в этом было что-то натянутое. Вдруг все смолкло, повернулись лица к дому, на крыльце были молодожены торжественней и застылей прежнего, остановились на постеленном ковре, глядя в сумерки, и нанаши стали по обе стороны с высокими подсвечниками в руках, обвитыми бумажными цветами. К свечам поднесли огня, зажелтели бледно два пламени, от одного к другому протянулся, повис длинный расшитый рушник, отделив молодых; медленно ступая — тронулись: нанаши, молодожены на шаг позади рука в руке, гости парами (Фотограф с хозяйкой в третьем ряду), коротко переставляя ноги. Едва процессия вытянулась из ворот на треть, раздался девичий писк, два-три голоса подхватили, засвистел в пальцы парень, другие заулюлюкали, с десятков девок истошно завизжали запричитали завскрикивали, среди них определенно была и воровка, та, что сосала леденец у колодца, та, что смотрела на ласточек, сминая саман ногами и накликаая теперешний дождь, та, что прежде первых двух забралась в красный виноградник по имени Лидия, и, если б у нее было имя, так могли бы звать и ее. Крики звучали тесно, душно и от этого — еще более непристойно, и белые птицы слетали, вспугнутые, в сумерках с деревьев, как

белые клочья. Колонна повернула в боковую улицу и прошла мимо церкви; староста, стоя на паперти с непокрытой головой, истово крестил воздух, и пола светлого пиджака оттопыривалась, но на него не смотрели, лишь нанашка подняла выше свою свечу, потому он (знала деревня) мог и навести порчу. Девки бежали попереди, держась, как прежде, стаей, вертели телами дули на свечи с визгом поднимали юбки, тыча в невесту пальцами, делали вид, что хватают грязь с земли, чтобы вымазать белое платье, но мертво глядела невеста, прямя спину, сведены были гладкие щеки жениха и стыли цыганские белки, блаженно и истово глядела нанашка, муж ее загоразживал свой огонь корявой ладонью. Хозяйка подняла на Фотографа блестящие глаза, уж не боясь, что из толпы заметят ее блеск: тот смотрел торжественно и прямо, суровость к лицу (сама прожила порядочно), так и надо бы им идти, отдельно от забрызганных и ошалелых, бегущих по улице впереди и обочь. Пальцы цепко сжимают пойманный локоть бедро мягкое жаркое на глазах светлые легкие слезы,—

и Фотограф не отстраняется, вот и портрет женщины:

обрезать неприглядные края затуманить при печати резкие черты ретушью свести двусмысленные пустоты — не слышно ни визга ни крику, только два помаргивающих глаза колеблющихся свечей (два туманных одувана на негативе при долгой выдержке) только слезы благодарности (всегда себя соблюдала, можно людям в глаза смотреть) только бледность чистого лба, будто сама невеста и невинна, только бумажные цветы, бесильно выющиеся у основания свеч, соединенных чис-

тым рушником, за который не переметнуться грязи, только бледная фата, развевающаяся над ними, как хоругвь, —

только взгляд объектива, только спуск затвора, только тяжесть камеры на шее.

Тут улица открылась от огней, непристойные крики смолкли и девки брызнули в стороны, снова, будто в воду плашмя уронили сырую слегу, ударила, всплеснув, музыка, открылся сцепленный из кошм и ковров шатер, горящий изнутри ярким душным пламенем. Стали затягиваться по двое, протискиваться за прямоугольный — вдоль стен, с одной разъятой стороной — стол, торопясь занять места спинами вовне, лицами — к центру свадьбы, но вот дошло и до внутренних лавок, и набралось за столом жениха народу вчетверо против нанашного, и безмужние девки и парни заняли край ближе к выходу. Вглядывался Фотограф в лица, воровку не мог угадать: все однопородные смуглые с густо-русскими бровями, да и сама нанашка той же вороватой породы, с тем же голосом, грудным и визгливым (мелкий таз низкий задок шалый взгляд темная стрижка) — вскрикнула, едва расселись, влезла на стул во главе стола взметнула в руках непользованное несмятое белое полотенце, стала танцевать и петь и нахваливать и молодую и расшитое полотенце из приданого сундука, где скоплено было таких за сотню, и пошла от нее девка с этим полотенцем и с подносом, на котором рюмка полная зельем, к первой паре. Выпил мужичок, потрянул мощной, бросил кредитку на поднос, пока жена рассматривает свертывает покупку. Как поет нанашка, как пляшет, так и платит гость. Дошло до них, встал Фото-

граф, показался хозяйке еще шире прежнего, махнул рюмку и кинул на поднос четвертную под смех и хлопки и завистливые

бабьи взгляды, которые — хоть и опустила глаза — ловила свертывая рушник дрожащими руками, —

нечаянный гость, гордость и стыд. Растет трехцветная груда на столе перед нанашами, и вот затихла свадьба, начался счет. Затаили дыхание по всему длинному столу ждут, когда будет сказано, сколько надали, сколько заработала нанашка для молодых на невестином добре, но прослушал Фотограф сумму, не узнал четырехзначное число, —

у конца ковра, что был за спиной, у расшитой богатой стены — девочка десяти лет в сандалиях на босу ногу (круглое теплое плечо вплотную) в ветхом платице, с пустым обшарпанным кувшином. Кто-то послал ее за вином, беспутная мать пьяный пропащий отец из тех, кого уж не зовут на свадьбы, когда сыто и пьяно — не откажут, и стояла девочка по-видимости безучастная, дожидаясь когда пойдет тяжелая гульба, но глазки (видел Фотограф) воровато бегали, она уж заметила, должно быть, к кому при случае подойти. Горячее мягкое бедро мелкие вороватые пальцы темные колени покачивание лодчонки, идущей поперек течения, глянцевая веточка здешней породы еще некорявая бледный побег едва намеченные почки сухой заплесневелый кувшин, кажущийся деревянным, как перезрелая дыня, какими полон сад. Хозяйка поднесла еще водки, что-то есть в ней от нанашки, когда танцевала свой смуглый танец, от чужого лица в наливающимся серым светом круге воды, от сада, в котором оранжевеют тыквы в по-

темках среди лопухов, над которым стоит седой под ветром тополь с выгнутой к югу высокой кроной (серебряное перо в чернильнице сада, долгая выдержка и при полной луне). Вот дошло дело и до шалаша, ибо модная музыка сменилась двумя скрипками бубном баяном, и хозяйка потянула Фотографа туда, где плясали бабы мужики вскидывали косолапя жилистые руки вились и жеманились девки пьяный щербатый парень расталкивая других щипал и хлопал одну по спине между лопаток (сумка с аппаратурой под лавкой). Схватились Фотограф с хозяйкой принялись перетаптываться вспомнил, как видел ее за смородинным кустом, это она срезала виноград, покрикивая на нерасторопных парней, она месила глину босыми ногами, напевая и подбадривая баб (недостроенный дом на краю деревни, бурая деревянная церковь). Последний раз воровка смеялась за его спиной там, где только что пиликала и звенела музыка, и он обернулся: хозяйка рассказывала о чем-то соседке, та прыскала, прикрывая красной ладонью золотой рот.

За шатром пьяно пели и взвизгивали, небо было темным, без звезд, воздух сыр и свеж, в шалаше мерцал огонь; легко было представить, как ходят легкие мазки пламени по корявому переплету с торчащими между веток соломинами, с дрожащим ивовым засохшим листом у самого конька. Горячие пальцы держали за руку, оскальзываясь, прижимался он к мягкой и теплой юбке, пальцы не держались на шелковом плече, вишневое дерево нависло темной грудой, в изломах его была натуга, как если бы в суставах отлагалась соль. Виделись с отчетливостью наросты, неровности, запах

тления переполненного сада был сладок, сад — выпукл, грустно мерцал огонек на оплавленном огарке, пустившем непрозрачную слезу. Сквозил обобранный виноградник, придвинувшись к ветхой стене сырого деревянного сарая, сомкнулись ветви груш, пахло подомашнему не выбитыми коврами остатками пищи от обеда, рос бурьян и мерцали как лужи сладкого молока забытые патиссоны. Стопа учебников с раскрашенными цветными карандашами крупными буквами на обложках, сношенные туфли с буграми на внутренней стороне у начала большого пальца, обертки дешевых конфет, сложенных для игры в фанты, изогнутое коромысло. Плетеная корзина перевернута, рана на боку (свеже-раздробленные прутья) салатова. На черной пластинке с красным кружком этикетки записан мужской голос (связка ключей в дорогом кожаном футляре и потушенная папироса того сорта, что Фотограф никогда не курил). Наконец, попала в кадр и оскальпированная кукла с круглой дыркой на месте прошловременной нейлоновой прически, с раскуроченным механизмом для открывания глаз и с целым — для произнесения слова *ва*. В рост было не втиснуться, пришлось спуститься на корточки, подстил был влажным и теплым, запах мыла и чистого, но затхлого сыроватого белья, волосок и чужие губы, жесткие и сухие, леденцовая сладость на месте чужого языка. Первым, что увидел Фотограф, когда проснулся, был именно леденец, зеленоватый истаявший язычок с одной стороны прикушенный, в зазубринах, прилепившийся на краю тумбочки, наскоро склеивший столешницу и серую кружевную салфетку. И только потом: мокрый круг на дощатом крашеном полу, рядом

кружок поменьше, фотография изможденного мужчины на стене (траурная рамка), вторая примятая подушка рядом, сумка с фотоаппаратурой возле двери у порога. Радио говорило, что дует с севера. Фотограф вышел во двор, посмутнело, хозяйка была у плетня, косынка на голове, низко повязанная, голубоватое ситцевое платье (для работ по двору). Фотограф встал рядом (так и есть документов не оказалось, отсиживалась себе без прописки). Двое милиционеров (у того, что младше, полы шинели коротки по коленям) вели воровку, но не посередине, по обочине. Она несла в руках чемодан, лицо незнакомое, серое, злое, немолодое, подол длинный, плащ реглан, фигура бесплечая, на ногах ботинки со шнуровкой, похожие на мужские и измазанные. Молодой курил папиросу и взглядывал за плетни, где виднелись лица, другой смотрел под ноги, сплевывал, лицо было мятое. Все трое свернули за угол к реке, и Фотограф, перейдя двор по диагонали, смог проводить их: ранняя река, клубящаяся паром, смутное поле, три фигуры — две мокро-синие одна серая маленькая, — спуск затвора, перевод кадра, вечное опасение не царапает ли рамка пленку внутри камеры. Левее — неровный край давно не чиненного плетня смутная вертикаль (изогнутый серый потек кроны тополя, как восковая слеза) три пятна фуражка на голове косынка другая фуражка чуть ближе и ниже: затвор, щелчок. Беседка вышитый рушник хозяйка улыбается, склонив голову набок не разнимая губ: снимок на память.

12. ЗАПЕЧАТЛЕНИЕ ГРАДА

Сколько фотографов — столько обличий, наш был рыж (рыж, глуховат, косноязычен), да и можно ли назвать его фотографом: служил инженером, устал от безденежья, пристал к разъездной команде, промышлявшей пересъемкой и ретушью старых домашних снимков по дальним поселкам и деревням. Он был дюж и раж и скоро выдвинулся; ибо в новом его ремесле успех давался не навыками фотографирования, но жесткой готовностью встретить конкурентов за поворотом. Победа над людьми самой крутой в европейской части харьковской мафии, когда Рыжий сломал нос чужому бригадирю и прибрал их аппаратуру (дело было под Владимиром, по всем географическим законам он был прав), доставило ему признание начальства; уже во главе собственной фирмы он перестал разъезжать, лишь собирал дань снизу и платил налог наверх, имея в кармане выправленные честь по чести патент и удостоверение фотографа-художника. Времена, когда червонец считал за деньги, стали казаться баснословными; на себя в месяц тратил несколько тысяч, тысяч пятьдесят были вложены и крутились в обороте; он обеспечил прежнюю, заведенную еще в инженерной простоте семью и женился на стенографистке из МИДа, не вылезавшей из-за границы (брак в его нынешнем кругу и престижный, и практический). К тридцати пяти он чувствовал себя всего добившимся и потому — усталым. На наше озеро он попал случайно.

У Рыжего была страстишка (юношеская еще, от паши по наследству), притаившаяся на время делания

карьеры, но теперь проснувшись, — рыбная ловля. Однажды во время инспекционной, скажем так, поездки по заволжской глухомани он сторговал за полторы тысячи деревенский дом. Он мог бы и позабыть о покупке, полениться ехать, отложив на потом, если б не краткий роман, встряхнувший отяжелевшую душу и приключившийся на переломе весны: он усадил пассию в автомобиль, туда же — японские спиннинги и надувную лодку и прибыл в деревню в последнюю неделю мая.

Мрачноватая неразговорчивость местных жителей удовлетворила его (по понятным причинам он тоже не был говоруном), а по подробному изучению — и сама покупка: пятистенный дом из крупных, сохранных бревен был крыт шифером, у кривой бани на берегу сгнил лишь нижний венец (чугунный котел ржав, но цел, и каменка не разрушена), пристроенный к избе крытый двор сух (и ворота не осели, пригоден под гараж), под навесом поленницы дров от помершей хозяйки (березовая и ольховая, хватит даже на дождливое лето), сад одичавших груш, двух-трех вишен или слив (в ботанике он не силен), стольких же подсохлых яблонь (пойдут в коптильню) и смородиновых кустов спускался к озеру, две печки, русская и голландка, не дымят (и тяга славная, дымоходы отдельные), в комнате есть даже самодельная мебель, крашенная бордовой краской, два шкафа, стол, лавки, табурет, кровать с шишечками, заваленная прелым тряпьем. На первой же зорьке Рыжий натаскал два десятка мелких щук, теперь помещался на лавке за столом, полном консервами и бутылками водки. У его подруги, хлипковатой на вид, с птичьим носом

шатенки, от чистки рыбы в холодной воде занемели руки. Она сидела на табурете и тоже отглатывала из стакана. Кудлатый и большой, в рыжей бороде, с лоснящимся в отблесках дико трещавшей голландки толстым лицом, ее спутник казался ей безусловным хозяином и этой избы, затхлой и мертвой, и всей притихшей в потемках деревни (даже собачьего лая слышно не было по той причине, что в деревне не держали собак), и всего окрестного лесного и озерного мрачного пейзажа; и ее самой, конечно.

Утром она отскребала и драила засиженные мухами, в паутине вековые бревенчатые стены, отдираала многослойные обои и ссохшиеся, как фанера, листы довоенных еще газет и иллюстраций из «Огоньков», оттирала приставшие намертво клочки и ошметки; Рыжий носил воду и выносил мусор, изредка вливая в себя четверть стакана (в питье он отличался пугающей компаньонов устойчивостью, но после литров двух мог стать дик и животен). Через день, когда и стены и пол были выскоблены, убран хлам, наведен посильный уют, извлечен с чердака или из чулана медный самовар (впрочем, оказавшийся худым), Рыжий распорядился вновь погружаться в «Ниву» и погнал в Москву, хоть ее отпуск молодого специалиста кончался только через две недели.

Вскоре, однако, жители Содомихи (кроме этого архаического было у деревни и другое имя, употребляемое в административных целях) стали свидетелями второго явления

Рыжего — он был на сей раз один, но с катером из толстого дюрала на автомобильном прицепе, но с но-

веньким лодочным мотором, но с обилием ящиков и грудой барахла, которое он невозмутимо перетаскал к себе в дом, частью же широко и хозяйски разбросал по своему двору. Прикатили с ним и вовсе странные предметы — водные лыжи, скажем, которые он прислонил к поленнице, гамак, который наверняка не мог бы выдержать веса его тела, цветной телевизор и (что совершенно сразило деревню) старая стиральная машина. С того дня мы часто слышали ранним утром вой его мотора (сильней на озере ни у кого не было), иногда он переплывал на наш берег накопать червя в развалинах бывшей конюшни.

Прошло совсем немного времени, и мы заметили необычайную склонность к нему всех содомихинских.

Мы ломали головы, как это темная и неприветливая Содомиха так разом и так славно приняла чужака: непроницаемые, с сухими губами, старухи низко кланялись Фотографу, имя его произнося с ласкательными суффиксами, неизменно прибавляя «наш»; две бабы помоложе, за шестьдесят, вскопали ему огород и посадили картошку; а мужики (их было в деревне трое), едва завидев, заискивающе улыбались, только что шапок не ломали, и, поправив ему баню и почистив ему колодец, стали собираться к его дому на закате — смолить папиросы.

Легче всего было решить, что Рыжий купил Содомиху. Но, во-первых, деревня была отнюдь не бедна, во-вторых, содомихинские по-своему были несомненно горды. Так что дело было не в лимонах и тушенке, не в лекарствах от артритных болей в старушечьих негнущихся руках (на вопрос, доктор ли он, Рыжий никогда

не отвечал), не во всегдашнем наличии у него браги (именно для ее ускоренного изготовления и нужна была стиральная машина), не в фотографировании даже всех желающих с помощью невиданного здесь поляроида (фотографироваться, так же как и пить брагу, больше отчего-то любили мужики, не бабы).

Единственный на всю округу магазин был на том берегу. Купить в нем было нечего, но раз в неделю на телеге привозили хлеб и сгружали серые грубые буханки здесь же, у магазина, на расстеленный по траве брезент. Местные брали мешками — кормить свиней. Мы плавали туда не только за хлебом, но и за молоком и за яйцами — на нашем берегу не осталось ни одной коровы, а нескольким нашим старухам было не под силу уже и содержать кур. Подплывая, мы часто заставляли Рыжего стоявшим по грудь в воде на фоне своего дома и своего сада, как изваяние, с удочкой, в низко надвинутой на лицо шляпе, с куканом на поясе под огромным его животом (добывал живца для ловли судака). А потом становились свидетелями оживленного спора между бабами — кто из них возьмет для Рыжего хлеб, кто лучше знает, сколько ему надо.

Среди нас был один умник, даром что по профессии биолог (впрочем, парень милейший, хоть и фантазер), однажды, прервав рассказ о коитусе у комаров (весьма поучительный, кстати, ибо, оказывается, у разных комариных подвидов, числом около тысячи, гениталии устроены на манер английского замка с тем, чтобы один подвид не мог подобрать отмычку к чужому, чем охраняется внутривидовое разнообразие, комарам столь важное), прервав рассказ, он хлопнул себя по лбу:

батюшки, да ведь они никак признали в этом самом вашем Рыжем — своего предка! Кто признал? Какого предка? Ну эти, содомичи или содомяне, как вам угодно, признали в нем предка, просочившегося по весне сквозь ключи и родники к ним в озеро — подобно русалке! Да-да, приговаривал биолог, что вы смеетесь, вы посмотрите на него, видом он — вылитый содомит! И, поскольку сам резонер тоже был толст и тоже бородат, слова его звучали хоть и двусмысленно, но основательно.

Впрочем, говоря серьезно, Рыжего содомихинские держали скорее не за пережиток язычества, но за священника. Быть может, как следует никто ему и не исповедовался, но каждый с удовольствием, нарушая неписаный закон, рассказал про соседа, и с непостижимой быстротой (учитывая, что в деревне он был все-таки практически посторонним) узнал Рыжий многое из подноготной Содомихи. Скажем, что Марьин отец при немцах у мертвых солдат сапоги спиливал (отпиливал на морозе ноги у трупов, оттаивал в избе, так и добывал обувь): что третьего года отправили его содомихинские мужики под лед — Гитлер бил ему веслом по рукам, пока тот хватался за лодку, а после целый год не разговаривал (как во всякой порядочной деревне, здесь был свой Гитлер, а Сталин помер, именно в сталинской избе жил теперь Рыжий); что муж бабки Наташки умер в тюрьме, где сидел под следствием по доносу этого самого Сталина, что гонит самогон (дело было году в пятьдесят третьем, но бабка Наташка до сих пор утверждала, что самогонка была купленная); посидел в свое время и Гитлер, не сразу, как пришел с войны, а позже,

за частушку про *всё картошка да картошка*, от которой *хуй повесил голову*, но недолго, года три; что Ольга была девка ладная (она и в свои шестьдесят пять была не без следов красоты), но осталась бездетной, молодой муж спьяну уснул в телеге, когда ехал лесом, и его загрызла рысь; что раскулачили у них в свое время только отца угрюмых старух-сестер Глаши и Груни, которые как вернулись из-за Урала, так и живут в одной избе, что денег у них миллион, а может быть, десять тысяч; что в Содомихе партизан не любят, потому как те спалили в последнюю войну полдеревни, всех из домов повыгоняли на снег с детьми и скотом и запалили, чтоб врагу не досталось, а немец прошел мимо и Володьке Наташкиному дал конфету; что вера у них в деревне — пашковская, когда еще собирались молиться, то в Ольгиной избе...

Да только вряд ли Рыжему были так уж интересны все эти подробности, нашего же умника они живо волновали. Постепенно у него родилась своеобразная краеведческая, так сказать, теория относительно Содомихи. Между нами и ими, показывал он на противоположный берег, лежит не что иное, как провалище. На наши же вопросы он принимался нести энциклопедическую околесину об италийском озере Кастроджиованни и о французском Гран-Лье, о том, что Содомиха некогда была деревней черемисской, марийской, а русские были пришлецами; что языческие левират и снохачество представлялись русским именно что грехом содомским (откуда и название), ведь были они людьми старой веры и обряда, ушедшими подальше за Волгу от Никоновой ереси, а позже — от антихристовых «песных куд-

рей»; поминал наш эрудит также бретанский город Ис, читал наизусть и всклад «под нам се земля провалити, как се кум куму миловати» и еще что-то из игумена Панфила (мы не знали, кто это); «яко же древле согреша людие, сих же пожре земля живых».

Ему возражали, что и черемисов и раскольников он выдумал, что жители Содомихи — баптисты своеобразного толка, называемые так по имени основателя секты Пашкова, благополучнейшего вельможи царствований двух последних Александров, между прочим, дядюшки Черткова (того самого, столь не любимого Софьей Андреевной), и что обратил их в пашковскую веру здешний помещик Губин (одна из песчаных кос и поныне у местных называется Губинское Рыло, хоть от усадьбы не осталось и следа)... На Пашкова он еще соглашался, лишь замечая, что было-то это почти что сегодня, в прошлом веке, а он говорит — об истории, советовал читать Печерского, замечал, что вопрос о содомихинской вере есть вопрос темный, что остатки язычества, без сомнения, тлеют в содомихинских душах и биографиях, и предлагал всем желающим получше взглянуть в здешние рожи (в этих смуглых голубоглазых лицах и впрямь чудилась какая-то угро-финско-татарская подмесь, как если бы инородец подправил наши иконы новгородского письма). А Рыжий ваш еще что-нибудь учудит, говаривал наш толстый, помяните, мол, мое слово (точно как генеральша Епанчина в финале знаменитого романа), и если считать, что утопнуть в грозу — это и называется у ч у д и т ь, то эрудит наш оказался пророком...

Умерла одна из сестер-«миллионерш», бабка Глаша, и односельчане решили ее везти отпевать в церковь

(благо церковный погост — и было самое близкое кладбище). Этому решению не стоит удивляться, вера этих темноликих людей и вправду была довольно смутна. Несмотря на свой суровый баптизм, давно оставшись без духовных водителей, православную церковь они таки тоже посещали, при том, что добрая половина из них была еще и коммунистами: тот же Гитлер, скажем (впрочем, в церковь он вряд ли ходил). Марья, бывшая бригадирша и член поссовета, была истовой пашковкой, дня не пропускавшей, чтобы не послушать по радио передачи откуда-то из Аргентины, в то время как два ее партийных сына служили милиционерами — один в Москве, другой — в Ленинграде.

Рыжий тоже отправился на отпевание. Усадил в автомобиль Ольгу (она к тому времени отвоевала себе место наперсницы, пропалывала Рыжему огород, топила баню, а его самогонный аппарат перекочевал в ее сенцы, так что она стала как бы еще и личной его шинкаркой) и бабу Наташку, которая идти за гробом восемь километров никак не могла (гроб повезли на телеге, запряженной единственным в деревне глухим меринком по кличке Юрок), но в церковь хотела попасть непременно, потому в церкви весело, когда она была там в последний раз — не вспомнить — и уж до смерти навряд когда еще побывает.

Затерянная церковь обслуживала огромный приход (прочие храмы в широкой округности повзрывали, но эта выжила — одна на сотню деревень, в которых, впрочем, немного осталось способных до нее добраться прихожан), священник не халтурил. Дьякон, правда, был вполпьяна, но раскрывал толстую старую книгу во-

время и на положенном месте, а поп, человек еще молодой, возраста Рыжего, исполнял службу сосредоточенно (занятно, за какие грехи начальство его сюда сослало).

Поначалу Рыжий томился в церковной духоте, воспаленной жаром и треском десятков тонких свеч, потом творящееся действо заинтересовало его: над маленьким деревянным крашеным гробом с лежавшей в нем бледно-желтой, как росток картофелины, старушенцией, в платочке, с бумажной лентой на лбу, в темно-коричневой с желтым крапом ситцевой кофточке, над ее изголовьем бледный священник с серьезными запавшими глазами читал тягучим голосом непонятные напевные слова. Время от времени стоявшие вокруг старушки крестились, прежде других — сестра покойной, жадно и с наслаждением, а бабка Наташка, притиснувшись к гробу, все заглядывала умершей в лицо с идиотическим восторгом (она одна в деревне носила очки, которые чудовищно увеличивали ее прозрачно-голубые бессмысленные глаза). Ни с того ни с сего перекрестился и Рыжий, а потом мысленно проверил — с той ли руки и верно ли положил он крест, со лба на живот, справа налево. Все было верно.

Дьякон подал паникадило, священник помахал вокруг гроба, ласково запахло ладаном; Рыжий почувствовал, что сейчас, верно, начнется главное.

И точно: священник зашел с другой стороны гроба, стал у изножья и начал говорить от себя. Говорил он просто, то же, что и сотни и тысячи раз говорили другие священники до него в той же ситуации, и единственно верное объяснение, отчего на Рыжего проповедь так

подействовала, в том, что за свои тридцать пять лет Рыжий был в церкви буквально в первый раз (если не считать, конечно, экскурсий по костелам Львова или Вильнюса).

Как совершенную новость Рыжий выслушал, что и нитки не возьмешь с собою из нажитого на земле, уходя: ведь верно, разве что ситцевую кофточку, но и та сгниет, поди, через месяц. Он вслушивался все пристальней (куда глухота девалась) и узнал, что жить на земле было бы муторно и незачем, когда б не было за гробом жизни вечной (и впрямь, для чего жить-то тогда, разве что для детей, а те, в свою очередь, будут жить для своих детей, но этак получается, что никто не живет и цели нет, дурная бесконечность); и что скорбь наша по усопшим близким людям была бы невыносима, жутка, когда б мы не знали, что любая смерть — напоминание нам о великом таинстве жизни на земле, о великом таинстве смерти и о великой встрече, которая предстоит каждому... И казалось странным, что вот прожил он половину жизни, ничего обо всем этом не ведая, что никто ничего ему не подсказал, а сам — не задумывался, лишь непрестанно вел жесткую борьбу за овладение материальными ценностями с тем, чтобы потом с не меньшим ожесточением нажитое потребить и прогулять; а смерть — вот она, лежит перед ним в гробу и поджидает всякого.

Поминки были в избе сестер, наполовину осиротевшей (полуистлевшие фотографические карточки по стенам, напиханные по нескольку штук в одну раму, праздничные открытки для красоты, плетенные из разноцветного тряпья половики, черный, закопченный по-

толок). Здесь же прочел Рыжий изречение, писанное тушью по ватманской бумаге, тоже подкопченной и побуревшей, и приклепленное на передней стене (из Апокалипсиса, но знать того Рыжий не знал): «Зверь был, и нет его». Образов нигде не было.

Тогда-то он и узнал об особых свойствах нашего озера.

О целительности трав по его берегам (травы эти — близится срок — старухи пойдут собирать), а пуще других — одной, цветок звездочкой зеленого цвета, от слепоты и вообще малозрячести; о том, что есть одно такое место на берегу, трудное и глухое, болотистое, где листья с деревьев и зимою не опадают; и особо — об озерной осоке, которую если срезать в правильный день, то соком ее любая рана затягивается... Но все это говорилось между прочим.

Выпивали, не чокаясь (полная рюмка самогона, прикрытая черным хлебушком, одиноко стояла на комоде перед зеркалом, занавешенным черной тряпкой); потом бабы затянули протяжную песню, слов не разобрать, то ли поминальную, то ли гимн или псалом. Рыжий слушал, нижняя губа его отвисала, останавливался взгляд. К рассказам крестьян он относился добродушно, как к сказкам для старых и глуповатых детей, но иногда и переспрашивал — ему было тоже интересно. Конечно, Рыжему было невдомек, что к нему, зажившему здесь барином среди поселян, со всеми его лодками и моторами, фотоаппаратами и скоростной брагой, с этого дня, может быть — и еще раньше, крестьяне тоже относились как к недоуменному ребенку, еще не ведающему простых и страшных вещей, о которых не

след упоминать вслух, не то что переспрашивать. Видно, они каким-то чутьем прежде самого Рыжего угадали, что медленный сладкий яд темных давних преданий, за долгие века смешавшийся с евангельской верою, тайно просачивается-таки в его обрюзгшую, но растрепанную душу. Когда их взгляды встречались у него за спиной, каждый молча опускал глаза с тихой улыбкой всепонимания; одна только выжившая из ума бабка Наташка, обернувшись к нему, вдруг воскликнула: девки, дак ведь скоро кусты красными лентами наряжать,— но сама же и оборвалась. А пьяный Гитлер наклонился к самому его уху и, фамильярно икнув, пообещал: ить, я тебе, Рыжий, и еще кой-чего расскажу. Но обманул, не рассказал ничего... Не надо было Рыжему встречать, пусть Содомиха сама хоронила бы своих мертвецов.

Наутро после ранней рыбалки Рыжий пришел к Ольге — опохмеляться. Ее изба была посветлее других, те же старые фотографии, та же пустота в красном углу (только лампадка), такой же ватманский плакат на стене, только изречение другое, из Луки: «Свет, который в тебе, не есть ли тьма». Она усадила гостя, как всегда, радушно, подала закусить — сала и соленых огурцов, присела и сама, облокотилась на край стола, заглянула ему в лицо: ты не слушай старух-то, они тебе набрешут. О чем она? — тут же и заглохнул Рыжий наживку. И, глядя прямо ему в глаза с обволакивающей, сектантской ласковостью, под которой играла то ли лживость, то ли озорство, Ольга принялась рассказывать: о городке Покидоше, который будто бы стоял в этих местах. Ссылаясь то и дело на старых людей, она пожимала плечами,

словно сама дивилась их наивности, но рассказ меж тем продолжала: о том, как проскакала здесь какая-то невообразимая девка верхом на коне, от тяжелого скока которого ушел будто бы городок Покидош не то под землю, не то под воду, а что девка была — турецкая; впрочем, иные говорят, что пропал городок от своих же солдат, которых привел какой-то Гришка-Кутерьма, потому жили в городе одни святые старцы, а войско послал нечестивый царь; что было в городке множество церквей и будто еще недавно кто-то из стариков слышал колокольный звон из-под озерной воды в ночь на Аграфену-купальницу; и что еще говорят, будто ведет в сокровенный город невидимая тропа Батыя (и здесь Рыжий возразил, что Батый был татаро-монгол, помнил со школы, и к турецкой девке не мог иметь прямого отношения), кто ступит на ту тропу, того встретит медведь-оборотень, уведет в городок, и человек станет навеки невидимым. Не знаю, какой монгол, заключила Ольга, а только так люди сказывали.

Эх, не было при том разговоре нашего толстого эрудита, уж он-то тут же расставил бы все по местам. Он знал и о радуничной обрядности, и о купальском гетеризме, о Навьем дне и чествованиях Ярилы, о разорении старообрядческих скитов и языческих преданиях, о зеленых святках, христианских запретах, о поклонении березе на главе церкви и о воскресающем боге; спросите его, он вам прикинет, когда можно ждать, что поднимется наконец стена Айя-Софии и продолжится константинопольская служба... Но то знать, то читать книжки, пусть это даже «Глаголемая летописец» и «Золотая ветвь», совсем другое дело — сидеть на том берегу,

пить самогон, закусывать огурцом, смотреть в лукавые глаза старой богомолки и внимать, ибо внимать — уж полпути к тому, чтобы верить...

Близились меж тем ночь на Ивана Цветника, славная купальская ночь, ночь цветения папоротника и свечения сокрытых под землю кладов. И деревня по своему готовилась к ней. То Гитлер шепнет Рыжему, подмигивая, что прошлый год, в эти вот числа, видел, как в бору голые девки с мужиками через костер прыгали под эту их, значит, современную музыку, — туристы, а понимают. То Ольга подтвердит, что в старину, бывало, все деревенские с вечера по берегам ставили в мох зажженные свечи; здесь же накрывали столы, пекли пироги с рыбой, торговали пряниками; молодежь зажигала огни, девки пускали по воде сплетенные из трав и цветов венки, а после всю ночь гуляли незамужние с парнями, редко какая после той ночи оставалась целая. И старухи нет-нет да проговаривались: видал, дескать, один дед лет пять тому назад на Ивана Купалу часовенку на холме, вот где елки одни стоят, — невидимая часовенка, а ему вот прямо засветилась вся, показалась; а многие и кресты в воде видали — разгуляется волна, да и покажется в озере куполок; только не каждому дано видеть.

На Рыжего эти байки видимого впечатления не производили, разве что от одиночества и жизни на природе начал он задумываться, оглядываться вокруг, подмечать свое. Раз он шел к лодке через сад тропинкой, которую сам же и протоптал, и видит — тропинка не идет прямо, но изгибается. Тут тайна: отчего бы ей изгибаться, никаких препятствий на пути; вон автомо-

бильная трасса не изгибается, а живую тропу — пойдя вычисли, тут не геометрия — интегральное исчисление.

В другой раз, когда выключили электричество (а это случалось нередко), сидя при печке и свечке, с погасшим замолчавшим телевизором, Рыжий подумал: как же сейчас сидят все эти содомихинские одинокие старухи по своим избам и о чем думают? Ему припомнилась церковь, слова священника, он сообразил, что, глядя во тьму слезящимися глазами, они ждут смерти со страхом и с радостью, молятся на свои непонятные лозунги, заменившие им иконы, потому что у каждой есть душа. И, наверное, волку или кабану не страшно сейчас в одиночку в темном лесу без поддержки веры и надежды именно оттого, что души у них нет. Но о своей душе при этом Рыжий как-то не подумал. Теперь он стал вслушиваться в окрестную тишину, которую недавно заметил. Из его ушей как будто не сразу ушли городской лязг и грохот, но теперь, в наступившей звуковой пустоте, он научился слышать шорохи и точно дребезжащие вдали многие колокольчики. Глухой, он разобрал теперь мышинный писк в траве, скрип стволов сосен, мелкий плеск волны, ткнувшейся в одинокую камышинку.

По-прежнему каждый день часов около четырех утра Рыжий отправлялся на озеро. Он отплывал километра два-три, глушил мотор (часто — как раз напротив нашего дома), насаживал живца, расставлял кружки и надолго замирал в лодке. Он промерил и просчитал неизвестное даже местным подводное течение с излучинкой и брал щук и судаков на диво содомихинским мужикам, к которым и в сети такая рыба не шла. Он си-

дел, неподвижно глядя на золотящийся плющ утренней спокойной воды и на встающее солнце. Главное — вовремя заметить, как скакнет и перевернется кружок, сменит белую сторону — красной, и куда пойдет (по его движению, по тому, как клюет кружок воду, Рыжий знал уже — щука ли это, судак или окунь).

Судак, как возьмешь его, бьет сильно, но коротко; если подсечь точно и во время, то он недолго дергается, обвисает, как полено. Не то — щука, она борется до конца, грызет стальной поводок, отгибает зубья тройника, пытается выплюнуть наживку; она то уходит в глубину, то быстро идет к поверхности, высовывает над водой морду, если леску держать внатяг, хватает воздух зубатой пастью, а потом прет прямо на лодку, пытаюсь опередить ловца и ослабить аркан с тем, чтобы, ударив о борт мордой или хвостом, метнуться что есть сил прочь, и надо угадать, не пропустить момент, выдернуть ее всю, используя инерцию ее хода, перевалить через борт тяжелое и склизкое, хищно-зеленое, с мутно-белым животом, полосатое рыбье тело, иначе исчезнет, оборвется, уйдет, оставив на стальном зазубренном острие клочок своего мяса. Да и в лодке еще надо побороться, оглушить веслом, подмять, потому что, заливая все вокруг кровью, ломая поддон и круша хвостом, она и тут, сгибая мощное резиновое свое тело, оттолкнувшись, хочет взлететь вверх и вбок, ухнуть, как мешок за борт, стремительно уйти в глубину. Тогда, если и теперь не сорвалась, надо начинать игру сначала... После одной из таких схваток, сидя на вздрагивающей рыбьей туше, Рыжий и услышал впервые отчетливый подводный колокольный звон.

Эта новость в тот же день стала известна всей Содомихе.

Рыжий, по обыкновению, принес пойманную рыбу Ольге, выпил свой обычный стаканчик и, перед тем как пойти соснуть до обеда, поведал ей о колокольном звоне. Он говорил, посмеиваясь, значения своему рассказу не придавал, но заметил, что Ольга странно на него смотрит, стушевался, на расспросы отвечал, что сперва бухнул большой, потом вроде подхватили малые, такой пошел перезвон и музыка. Ерунда, добавил он, может, и послышалось; взял шляпу и вышел.

Но к вечеру он застал у своего крыльца Гитлера, подающего ему знак рукой. Рыжий решил, что Гитлер просит сто граммов (с деревенскими на этот счет Ольга была строга, Рыжему часто приходилось посредничать), но дело оказалось не в том. Ты это, сказал Гитлер, слышал ли? Рыжий не сразу понял. Слышал, значит. Гитлер все мялся. А видеть — не видел? Что? — спросил Рыжий и хотел было послать мужика подальше, но тот сказал: известно что — купола. Нет, куполов не видел, помедлив, серьезно отвечал Рыжий. Дак еще увидишь, пообещал Гитлер, коли уж слышал-то... это ведь не всякий... не каждому...

Но и это еще не все. Кому-то из деревенских (скорее всего, кому-то из мужиков, потому что здесь нужно было мышление в известном смысле техническое) пришла в голову идея, отражавшая веру Содомихи в необычайное везение Рыжего, или в необычные его способности властвовать над природой, или и в то и другое вместе (бывало, что, обернувшись на берегу, Рыжий замечал теперь в стороне двух-трех содомихинских жите-

лей, которые, впрочем, тут же деликатно отворачивались). Идея была такова: попросить Рыжего запечатлеть с помощью своего чудо-аппарата то, что он, по общему убеждению, непременно должен был увидеть в озере купальской ночью. Ведь ежели ему удастся это, сообщали содомихинские, то и всякий сможет увидеть сокрытый град — не наяву, так на фотографии. Это предложение односельчане решили довести до сведения Рыжего через Ольгу — тут нужно было действовать осторожно, кто его знает — захочет ли Рыжий делиться с другими своей удачей. Ольга, по ее обыкновению, начала разговор издали и загодя (до Купалы оставалось еще дня два-три), так что Рыжий долго не мог понять, что от него требуется. А сообразив — заготал. Но, посмотрев в замкнувшееся тут же лицо своей хозяйки, пообещал: если что-нибудь такое ему покажется в озере, то он снимет на пленку непременно, она может не сомневаться (лукавил ли он для ее успокоения или действительно стал приглядываться — не мелькнет ли в воде крест и купол).

Погода меж тем портилась. Мы дня два носа из дома не казали: расписывали пулю, слушали Би-би-си, пикировались с помощью цитат. На третий день к вечеру с той стороны озера задул сильный ветер, поднялась приличная для нашего неглубокого озера волна, окрестности наполнились шумом древесных крон, и вдруг — будто что-то треснуло в стороне Содомихи, разошлось на небе по швам, и хлынул сплошным потоком густой дождь, гул и плеск которого разрезали по временам сухие разряды молнии, а с краю неба врывался и катился за горизонт тяжело рокочущий гром. Мы сбились в кучу,

друзья и жены, ибо наш домишко принялся содрогаться, и затрещали ветхие оконные рамы (наш умник и раньше острил, что и забралась-то мы вместе в деревянную избу, коллективно изживая травму рождения, утишая незаживающую память о потерянном внутриутробном рае, ибо, как ни крути, наши кооперативные московские квартиры меньше похожи на материнское чрево, чем этот бревенчатый склеп), думать не думая, конечно, что происходит в это время на другой стороне.

Рыжий, следует сказать, пил эти непогожие дни, будучи свободен от рыбалки, много больше обычного, но лишь когда хлынул дождь — засомневался, достаточно ли глубоко вытянул в последний раз на берег свою лодку (сомнения, кстати, небезосновательные, расходившиеся волны так и норовили в непогоду утянуть с берега все плохо лежащие предметы). И пошел проверять. Оказавшись у озера, он услышал как бы далекий знакомый звон, стал прислушиваться — громко плескал дождь, шумели волны, барабанили большие капли по миглом задеревеневшему капюшону брезентового дождевика.

Он вошел в воду по колено — сколько позволили сапоги, толкнул катер с кормы, заметив, что вода уже стала прибывать, хоть дождь лил пока еще не больше часа, и хотел было оттащить подальше к кустам самодельный якорь, как вспыхнула белым светом молния, ударила за озером в темную ночь, на миг осветив черную воду; Рыжий обернулся и увидел мерцающие под колеблющейся поверхностью золоченые кресты.

Все погасло, но какое-то смутное свечение еще дрожало в глубине, потом молния сверкнула снова,

протянулась по небу сверху вниз раскаленной дрожащей нитью. Рыжий видел теперь не только кресты, но и сами блестящие купола потаенного городка. Он бросился через сад — к избе.

У крыльца маячили несколько фигур, кажется — голос Гитлера слышался сквозь шум непогоды, но Рыжий торопился, спотыкался, скользил в лужах, ворвался в дом, дрожащими руками шарил спички и зажигал свечу. Потом схватился было за поляроид, швырнул его на кровать, отыскал камеру, отвинтил один объектив, насадил другой, бросился вон из дома, через сад, к озеру, ни на кого не оглядываясь.

На берегу он помедлил — молния медлила тоже, оттолкнул в темноте катер в воду, округа осветилась, все было на месте: озеро, мигом будто вывернувши нутро, показывало ему чудесный град, полный купольных храмов с золотыми крестами. Он прыгнул в лодку, заводной ремень мотора скользил в руках, мотор чихал и не заводился, он бросил его, налег на весла, ощупывая камеру на груди, — и быстро скрылся во мгле. Больше его никто не видел...

К гибели Рыжего, к нашему удивлению (именно мы нашли его катер через день, прибитый волной к прибрежным кустам на нашем берегу, и отвели в Содомиху), деревня отнеслась как к должному, даже не равнодушно, но удовлетворенно, будто Рыжий выполнил некое данное ей обещание. Нас заверили, что уже послали кого-то там в совхоз, где есть телефон и власть, там, мол, разберутся, дом же они пока заперли — целее вещи будут.

Долетали до нас и обрывки кое-каких суждений.

Одни говорили: куды, разве ж можно наше озеро на фотоаппарат снимать, никак нельзя — грех; в старину и рыбу-то не ловили, даже пацанам купаться запрещали, а тут — фотографировать. Другие (к их числу принадлежала и Ольга) демонстрировали уверенность, что Рыжий, утонув (в этом никто не сомневался), как бы и остался жить. Подразумевалось (но вслух, конечно, не произносилось), что стал он просто-напросто невидим, и слышалась нам даже тихая радость о незримом пребывании его подле живых. Наш толстый, выслушав все это, мрачно выразился в том духе, что если фотографирование у нас принадлежит народу, то и сам фотограф подавно ему принадлежит. И с досадой плюнул на тот берег, от которого мы и отчалили. Больше в Содомиху тем летом мы не плавали.

Но, уезжая с озера восвояси, мы все оглядывались на него, казавшееся даже и в солнечную погоду загадочным, если не зловещим. Может быть, каждый из нас в глубине души хотел думать, что последняя пленка Рыжего, лежащая теперь где-то на озерном дне, запечатлела-таки купола да маковки спасшегося некогда от всех напастей города. А кое-кому из нас, быть может, приходила и вовсе вслух произносимая мысль, что сидит себе сейчас наш Рыжий на престоле невидимого града, слушает малиновый колокольный звон, пьет, закусывает и смотрит цветной телевизор.

13. И ЗАНАВЕС ОТКРЫВАЕТСЯ

Попросили подойти на служебный вход (не войти в, не подойти к, но именно *на*) *что-нибудь* к двум. Ров-

но в два он сидел на банкетке в поле зрения бдительной вахтерши с чулком на спицах (точно такой, как в любой конторе), следил по электронным часам у нее над головой за зелеными светящимися точками цифр: четыре, пять, шесть. В семнадцать минут третьего (ему еще предстояло убедиться, что выражение *что-нибудь* может означать и полчаса, и час) из-под земли вынырнул щуплый вертлявый человек на тонких ногах и в кожаном пиджаке, с отсутствующим подбородком, прозрачно прикрытым редкой седоватой бородой, вполне андрогинного вида (заместитель главного режиссера по фотографической части, помощник генерального директора по фоторекламе, в этих титулах с непривычки нелегко разобраться), завидел фотографа, но тут же отвернулся к одному из шнырявших вокруг актеров, успев, однако, подать какой-то таинственно неопределенный знак с помощью артистического жеста, небрежного и округлого одновременно, —

и скоро фотограф освоится со всем букетом этих нехитрых приемов, призванных имитировать крайнюю занятость и чрезвычайную незаменимость, отвести малейшее подозрение в возможности извинений за опоздание, подчеркнуть своего рода сакральность этого храма искусств и вместе скрыть намерение ни в коем случае не заключать договора и не платить аванс. Наконец, актер вырвался и убежал, этот самый заместитель обратился к фотографу с фальшивой улыбкой (что должно было сойти за обаяние), произнес, грассируя и теряя подряд все согласные, как если бы плохо вставленная челюсть у него во рту сошла с предназначенного ей места: *каМеа с обою-ю, ты ее-е нииде не Абыва-ай*

(и в этой косноязычной невнятице был даже известный шарм). С помощью едва заметного выверта коленки он пригласил следовать за ним, и фотограф последовал, поправив на плече кофр.

Прежде он никогда не работал для театра, да что там — нечасто в театре и бывал, на редком спектакле мог усидеть до конца. Рассматривая на выставках театральные фотографии, он всегда чувствовал в них фальшь: снимки ли были нехороши, сам ли театр был дурным объектом для фотографирования? Ведь только в самом общем смысле можно говорить о театре как о части реального мира. Точнее же было бы сказать, что театр — это то, что остается за вычетом окружающей жизни, хоть и существует физически на твоих глазах, оставаясь для фотографа натурой. Но это другая натура, не копирующая первую, с которой ее роднит лишь мимолетность: как и все вокруг, представление летуче и живет только один раз. Но и разница налицо: как и всякая жизнь, представление тщится повториться, и во многом это ему удастся и во второй, и в третий, и в десятый прием, в то время как одной и той же жизни это не дано — в отличие от спектакля она умирает единожды. И что с подобной, театральной, то и дело воскресающей натурой делать фотографии? Снимая действие, творящееся на сцене, тем же способом, что и привычный нам хеппинг жизни, фотограф неминуемо упускает из вида свойства собственно театра — заканчивать представление с тем, чтобы потом начать его сначала. И фоторепортаж из какого-нибудь управленческого кабинета всегда будет более живым, чем снимки — пусть чрезвычайно выразительных — мизансцен с письменными

столами и галстучно-пиджачными парами, со страстью обсуждающими административные проблемы; второе всегда будет скучно невыносимо, даже если представить себе, что производственную пьесу сочинил Гоцци или Гольдони.

Но есть один фотографически-театральный канон, при всей своей всеми ощущаемой затасканности и банальности, неизменно пользующийся каждым, кто пришел с фотокамерой в театр, — композиции с пустым залом и пустой сценой. И, как это ни странно, снимки этого рода больше притягивают зрителя, чем самые феерические изображения эпизодов спектаклей. В этом — загадка; отчего так волнуют даже самые тривиальные фотографии подобного рода: полуразрушенные декорации, сваленные за кулисами; режиссер, застывший в мучительном раздумье посреди голой сцены; пустая сцена сама по себе; колосники, обвисший занавес, даже пустой зрительный зал, в котором парусиновые чехлы, накинутые на ряды кресел, так напоминают саваны...

Стечение обстоятельств было таково: только успел фотограф повздорить со своим издательством, для которого последние годы делал фотоальбомы, как позвонил ему этот самый главный помощник и генеральный заместитель и с косноязычным шармом объяснил, что видел его буклеты, его плакаты и что театр хотел бы заказать ему кое-что (так он выразился), необходимое для предстоящего зарубежного вояжа (свой зритель, понятно, пусть продолжает жевать обычную жвачку), —

и невероятным, виртуозным образом (фотограф не смог понять — каким), делая это предложение, этот самый тип сумел дать понять, что они-то в фотографе как

раз и не нуждаются, но готовы пригласить его из чистой филантропии, а необходимые материалы им как-то не очень-то и нужны. Все эти *что-нибудь* и *кое-что* должны бы были насторожить фотографа, как и первая же фраза, произнесенная в вестибюле, —

но он, повторяем, был в театре впервые — в театре с закулисной его стороны.

Они шли лестницами и переходами, то спускаясь на два пролета, то поднимаясь на пролет вверх, ныряли в низкие окованные люки с надписями, разрешавшими входить только своим и запрещавшими это делать посторонним; они с кем-то здоровались на ходу, гид что-то кричал в приоткрытые двери, за которыми стучали машинки и миловидные женщины пили чай; изредка им приходилось пожимать руки вальяжным господам, державшимся с невероятным достоинством (тут же на бегу фотограф успевал узнать, что перед ними был не ведущий заслуженный артист вовсе, но, скажем, администратор по билетным кассам или второй помощник режиссера по женской половине труппы), —

и лишь привычная тяжесть кофра на левом плече, лишь чувство, что кожаная его плоть привычно трется о твой свитер, помогали фотографу не потерять уверенность в себе.

Гид погонял его: *она* нас ждет, повторял он поминутно, нам нужно успеть все *с ней* обсудить, пока не уехала в Гонолулу для постановки русских сцен на тамошнем карнавале. Они пробежали и еще несколько коридоров, проходов, лестниц, сталкиваясь то с актрисой в румянах и кокошнике и с папирсой в зубах (идет детский утренник, комментировал гид), то с группой рабо-

чих, тяжело волокших куда-то громадного размера книжный шкаф (с трудом отыскали подходящий, пояснил тот, будем инсценировать еще недавно запрещенное одно собрание сочинений), пока не очутились в помещении, где все было иначе, все не так: стены отделаны панелями и драпировкой, под ногами лежали ковры, был мягок свет и невидимы его источники, не пахло ни потом, ни пылью, но цветочным дезодорантом. Распахнулась и еще одна дверь, гид нырнул в нее, обронив: «Подожди здесь». Но прежде, чем дверь захлопнулась у него перед носом, фотограф увидел и запомнил, как сфотографировал, довольно странную сцену: на подиуме на алой махровой простыне, закинув руки за голову, лежала больших размеров обнаженная женщина; прямо над ней полыхала нестерпимым огнем фиолетовая кварцевая лампа; рядом на корточках сидела миниатюрная брюнетка в кимоно и розовых колготках, с большой грудью и толстыми порочными губами и выщипывала волоски у великанши на ляжке. Фотограф поставил кофр на журнальный столик. И тут же услышал, что гид зовет его, призывно гребя ручкой из соседней двери с табличкой «Главный режиссер». В кабинете за громадным канцелярским столом, заваленным всякими иностранными штучками, как прилавок заграничной сувенирной лавки, сидела сама великанша, но уже в богатой шелковой тельняшке под портретом Станиславского; ее огромные руки были унизаны вполне дикарскими браслетами, толстые пальцы усеяны кольцами и перстнями, крупная смуглая голова обернута полотенцем на манер тюрбана, а в довольно маленьких, если сравнивать с другими частями тела, ушах сияло по бриллианту.

Она просматривала бумаги, говорила по телефону, отдавала указания по селектору, чесала за ухом примостившуюся у ее колен на сей раз блондинку, и лицо ее выражало чрезвычайное отвращение, усугубленное тем, что она держала в углу рта длинную тонкую черную сигарету и прикрывала от терпкого дыма один глаз. Другой смотрел прямо на фотографа.

— Он? — спросила капитанша, и ее заместитель, ставший рядом с ней совершенной козявкой, крутнул ножкой, согнул в локте правый кожаный рукав и поклонился. — Хорошо. Ну, ты ему... там... объясни,— произнесла она хрипло и компенсировала фотографу обращение к нему в третьем лице гримасой, которая могла сойти за кислую улыбку, — объясни, что мы хотим... и без этого... чтоб в русле нашего направления.

Ее огромный черный глаз уплыл с лица фотографа, аудиенция была закончена, оба оказались за дверью. И тут же помощник поволок фотографа прочь, сквозь эти шикарные апартаменты, вцепившись в рукав. *Объяснять не у-ужно... сам понима-аешь... естифаль в Етро-ойте... пьиду-умае-ешь...* — говорил он, и они очутились на донельзя запачканной, забросанной окурками и заплеванной лестнице, похожей на пожарную. *Об-атно О-огу айде-ешь,* — обронил заместитель, вильнул попку и упорхнул на кожаных крылышках своего пиджачка. Фотограф остался один, как выбираться — он понятия не имел, но это еще было полбеда: он спохватился, что кофр с камерой остался перед дверью в кабинет главной пиратши. Предстояло искать путь назад.

Но вместо того, чтобы стоять на месте, дожидаться, пока не явится кто-нибудь и не выведет его, фотограф

(не надо бы было ему любопытствовать) пошел по лестнице вверх, шел долго, пока не превратились ступени из каменных в деревянные и скрипучие, перила не стали шаткими, а над головой не заголубело открытое небо. Приблизившись, фотограф убедился, однако, что небо намалевано синей краской на фанере, нарисована и парочка кудрявых облачков, а хода дальше нет. Он стал спускаться, но на прежнюю площадку не попал, а оказался в бетонном подвале с горячими трубами, по стенам которого сочилась холодная вода. На его счастье, здесь был служебный телефон. Едва он снял трубку — ему ответили, но он не успел ничего толком узнать: как только на том конце услышали слово «главный», его резко оборвали. «Ее нет, улетела в Турцию для постановки «Валентина и Катерины». И телефон отключился. Тут в глубине бункера мелькнула тонконогая фигура в кожаном пиджаке, подозрительно скособоченная на сторону, как если бы она несла что-то тяжелое на плече, шмыгнула в темноте и пропала; фотограф устремился за ней.

Клеть грузового лифта дожидалась его. Едва фотограф погрузился, как лифт поплыл вверх, но вскоре остановился. Это, должно быть, был склад реквизита, потому что фотограф тут же столкнулся с деревянной лошадью с ногами; рядом на специальной подставке дремала голова Цербера; высилась бутафорская скала, не иначе как закрывающая адову пасть; валялись вперемешку малиновые перчатки, балетные пачки, восковые раскрашенные райские яблоки, папская митра, лавровое дерево, золотое руно, четыре шляпы испанских донов, три апельсина, покрытых натуральной плесенью,

опутанная паутиной, словно водорослями, ветряная мельница и костюм, похоже, привидения, весь заляпанный жирными пятнами. Все было в виде весьма плачевном. Продравшись сквозь этот хлам, оставшийся, по-видимому, от тех времен, когда театр не обрел еще нынешнего направления, плутая и тыкаясь, фотограф застыл на месте, удивленный представшим ему зрелищем. В большом чемодане с надписью на нем «герой» лежал не то покрашенный актер, не то ярко размалеванный манекен в пиджаке и галстуке и со значком Союза журналистов на лацкане — этакий умрун из народной покойничьей игры; крышка чемодана была откинута, на мертвеца падали сверху, мотаясь, многоцветные легкие листья; тут же, опершись на сложенный модный зонтик, сидела немолодая женщина в широком плаще и бормотала негромко слова цыганской песенки (и фотографу представилось, что ему знакомы и ее голос, и, быть может, ее лицо); поодаль стояла маскированная группа (юноши одеты старухами, девушки стариками, у одной из-под кителя торчала прицепленная на резинке красная морковка, непристойно покачивающаяся), все грустно махали носовыми платочками, провожая не то покойника, не то саму женщину в дальнюю страну. На всякий случай фотограф поискал глазами где-нибудь поблизости свой кофр с фотокамерой — нет, его нигде не было видно.

В другом месте, в комнате с заляпанными зеркалами, которые отражали лишь смутные контуры фигур, делая их похожими на пришельцев из иного мира, в старом кресле неподвижно сидела старуха в валенках; женщина средних лет смеялась молодым смехом, пла-

кал юноша, простирая к женщине руки, под громкие звуки музыки полуголая девица, кривляясь и хохоча, плясала рок-н-ролл, и хрустели стеклянные осколки у нее под ногами. Потом он попал на крышу.

Крыша была устроена на сцене, под ней расположился театр марионеток. Куклы отдыхали после представления, ворчали на режиссера, сплетничали, говорили по телефону, пили чай из своих кукольных чашечек; кукла-фат ухаживал за куклой-куртизанкой, задирая ей юбку, та хихикала тонюсеньким голоском; две другие перессорились, подрались, самовар опрокинулся, вода закапала на помост, и марионетки в страхе попрятались. Между тем на крыше меланхолический мужчина в макинтоше глядел в бинокль в воображаемую даль; другой (видом совершеннейший Пьеро, во фраке и с бабочкой), цепляясь за бутафорскую трубу, прижимал к себе урну, какие используют в колумбарии. Послышался хриплый и срывающийся женский голос (бывшее меццо-сопрано), пытающийся изобразить арию Далилы из Сен-Санса, тот, кто держал урну, уллучил минуту, открыл крышку, стал сыпать в партер мелко порезанную легкую черную бумагу, которую тут же подхватил ветер. Обе фигуры на крыше были призраками, и призрачным был женский голос, поющий неизвестно где. Фотограф спохватился: он вспомнил, что давешняя старуха в кресле в комнате с закрашенными зеркалами — знакомая ему старуха, умершая, правда, давным-давно. А эти двое на крыше ясно напоминают лица из старого семейного альбома.

И загорелась над ним театральная вифлеемская звезда.

Две молодые женщины натуральными совковыми лопатами разгребали ватный театральный снег. И спали двое младенцев в стоящих здесь же колясках. Маленький игрушечный поезд бесконечно пересекал бескрайнее снежное пространство; снег шел все гуще, в больном свете позднего зимнего рассвета электрически мерцали зарешеченные окна тюрьмы неподалеку; высоко в холодном небе летел самолет, моргая слезящимися красными сигнальными огнями; и будто от пения хора слабо колебалось пламя церковных свеч, теплые блики ходили по золоченым окладам икон, умирали в зарослях вечно цветущих искусственных томных цветов. И не вспомнить было, откуда он знает эту тюремную тоску темного зимнего утра, откуда помнит уют и защиту теплых церковных стен; и не понять, отчего слезы сами собой набегают на глаза.

Крупный брюнет в халате факира и чалме, напоминавшей режиссершин тюрбан, подмигнул фотографу, отогнул полу своего одеяния, из-под нее показался средних размеров рябой петух и прокукарекал три раза. Пронесся в своем кожаном пиджаке помощник и заместитель, улучил мгновение вечного своего порхания, чтобы похлопать фотографа по плечу, прошамкал: *деа ид-у, не авда-а ли, она овраща-ается автра-а из А-ади-Абеебы*, — умчался дальше, а откуда-то сверху спустился ангел в шикарном блестящем пиджаке и с замашками заправского вора стал раздавать желающим иностранные подарки, —

фотограф очутился в пустом зрительном зале. Саван был снят с кресел, пол чисто выметен, все было готово к представлению. Голая сцена зияла темным про-

валом. И тут фотограф понял всю магию подобных снимков: было в этой пустой сцене сейчас притяжение пещерного входа, дыры в земле, трещины в покрове, зияющего окошка в сплошной пелене, пугающей тайны разверстой могилы, от сцены веяло смутным дыханием потустороннего. Что ж, театр может ничего не знать об отдельном человеке, лишь о роде человеческом. И рассказывает о загадке смерти и воскрешения, о вечной тайне присутствия навсегда мертвых рядом с временно живыми. И мы приходим в зал для единственного в своем роде путешествия туда, откуда в реальности не бывает возврата.

Пол качнулся под ногами фотографа, как если бы он сидел в ладье. Прозвенел первый звонок. Он увидел, что посреди сцены стоит его кофр. Со странным чувством шел он по проходу, поднимался на несколько ступенек на сцену, перешагивал темную линию рампы. Перешагнул, обернулся, занавес плотно сдвинулся у него за спиной.

Он, торопясь, открыл кофр, который показался ему на удивление легким. Обрывки ткани лежали в нем, цветные тряпицы и деревянные чурки, старинный рисунок, красная капроновая лента, газетные вырезки, шерстяной полосатый чулок, зеркальце и фотография Северного полюса. Но под всем этим он нащупал камеру, извлек, она оказалась совсем невесома, будто склеена была из картона. Фотограф захотел проверить — действует ли механизм, нажал на спуск, из камеры вылетела птичка и уселась на ветке бутафорского дерева. И он вспомнил, что когда-то в детстве была у него подобная игрушка, изображавшая фотоаппарат, с пластмассовой

птичкой, выскакивавшей на пружинке. Но эта — была живая, она свила себе на ветке гнездо и снесла яйцо.

В зале слышался шум. Там шаркали и сморкались, там громко переговаривались в поисках своего места. Звонок прозвенел второй и третий раз, спектакль начинался. Наконец занавес поплыл в стороны, раздаваясь, и фотограф понял, что в яйце, которое снесла птичка, выпорхнувшая из его картонной камеры и устроившая себе гнездо на ветке театрального дерева из папье-маше, оказалась его душа.

1981 - 1989